

## I. НАЧАЛО ВЕКА

**Т**ри сестры Татариновы, Александра (1888–1982), Варвара (1890–1933) и Мария (1892–1965), были дочерьми известного общественного деятеля предреволюционной эпохи Федора Васильевича Татаринова (1860 — середина 1930-х) и Марии Андреевны Топаловой (начало 1870 — середина 1930-х), болгарки по происхождению.

Дед Федора Васильевича, обедневший немецкий дворянин Карл фон Рутцен, приехав в Россию, неожиданно женился на одной из племянниц Потемкина, получившей от своего дяди богатейшее наследство в Орловской и Курской губерниях. Сын Карла Николай был активным участником реформ 60-х годов XIX века. Некоторые из краеведов называют его прототипом тургеневского Рудина<sup>1</sup>. Его дочь Александра Николаевна была прекрасной музыкантшей, но вместе с тем отличалась крайне властным характером. Она вышла замуж за известного педагога, друга Ушинского — В.И. Татаринова. Жених не был ни знатен, ни богат, и выходить замуж Александре пришлось против воли родителей. Сын Татариновых Федор унаследовал от матери музыкальный талант, но мать мечтала о совсем другой карьере. Она разбила виолончель, на которой учился мальчик. Впоследствии Федор Васильевич все-таки играл на виолончели в домашних квартетах и больше всего беспокоился, чтобы «барышня», так прозвали его инструмент, не простудилась.

В дальнейшем он стал известным в своей губернии общественным деятелем, а после революции 1905 года вместе с двумя своими родственниками В.Е. Якушкиным и А.Н. фон Рутценом был избран в Первую Государственную Думу от партии конституционных демократов. Он был противником самодержавия, но всегда говорил: «Нужна не революция, а эволюция»<sup>2</sup>.

Его жена, Мария Андреевна, родилась в болгарском селе Капрившицы в семье Андрея Топалова, женатого на сестре известных борцов против турецкого ига

<sup>1</sup> См. Чернов Н. М. Провинциальный Тургенев. — М.: Центрполиграф, 2003.

<sup>2</sup> См. Филимонова В. К. Чистый либерал // Краеведческие записки. — Орел, 2010. — Вып. 8. — С. 217.

Любена и Петко Каравеловых. Любен Каравелов был также известным писателем и другом России. Родители Мики (Марии) погибли в начале антитурецкого восстания. Дядя Любен умер в конце русско-турецкой войны 1877–1878 годов, после чего в судьбе девочки принял участие друг Любена, офицер русской армии Александр Цуриков. В России Мария после окончания Института благородных девиц стала женой Федора Васильевича.

У Татариновых было четверо детей: Александра, Варвара, Мария и Юрий. Все они учились в гимназии в Орле, а летом жили в имении отца — Хотетово, недалеко от города. Воспитание было очень свободное, время они проводили с деревенскими ребятами, ездили верхом с элементами джигитовки, плавали и т.д. Вместе с тем они прекрасно знали литературу, старшая Александра была хорошей пианисткой, Варвара и Мария писали стихи и рассказы. Художественные устремления Серебряного века сочетались в них с традиционным для русской интеллигенции стремлением помогать людям без различия их социального положения и искренней любовью к Родине.

Известный земский деятель В.А. Оболенский писал о семье Татариновых: «Семья по своему складу своей жизни была пережитком тургеневских времен. Она состояла из на редкость красивой жены и четырех детей.

Их орловская квартира была всегда грязна, нуждалась в ремонте, мебель потерта, из кресел и диванов торчал волос. Но художественная прелесть таких старых дворянских гнезд состояла как раз в свободе от норм мещанского бюджета. На рваных креслах всегда сидели гости, которые чувствовали себя уютно, как дома. Некоторые оставались обедать и ужинать. Ели скромно. Но всем хватало. Летом, когда семья переезжала в свое имение, на праздники и воскресения к ним также съезжались орловские знакомые. Ночевали кто на кроватях, кто на полу. Гуляли, пели песни, запоем играли в крокет. Этот дом в Орле был единственным центром, в котором встречались люди из двух замкнутых кругов — местной аристократии и местной интеллигенции. Бывали у них и земцы из разных политических лагерей, а также представители третьего элемента — агрономы, статистики, студенты, гимназические подруги дочерей. Всегда было шумно и весело. Игры молодежи чередовались с музыкой, музыка — со спорами на философские, литературные и политические темы. Споры чисто русские, безбрежные, тянувшиеся далеко за полночь»<sup>3</sup>.

Все дети выросли незаурядными людьми, обладавшими высокой культурой, усвоенным от родителей демократизмом и верой в лучшие стороны человеческой природы. Они были достойными представителями того поколения русской интеллигенции, на долю которого выпали тяжелейшие испытания первой половины двадцатого века, того жизненного пути, который заслуженно получил название «хождения по мукам». Судьба сестер Татариновых, как и вся текущая жизнь, отразилась в их воспоминаниях, дневниках, художественных произведениях.

Накануне революции 1905 года Александра против воли отца вышла замуж за Лаврентия Пуцина, внука декабриста, но, тем не менее, человека монархических убеждений. Из-за различий в оценках происходящего политические события привели к временному разрыву между семьями.

Варвара в 1911 году вышла замуж за В.С. Муромцева, сына друга семьи Татариновых, председателя 1-й Государственной Думы С.А. Муромцева, похороны которого стали важнейшим событием общественной жизни. Муромцев-отец очень хотел этого брака, полагая, что Варя окажет на его сына хорошее влияние. Но вскоре молодые супруги перестали жить вместе, хотя не развелись официально. После этого Варвара Федоровна училась на Высших женских курсах в Москве.

<sup>3</sup> Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. — Париж: YMGA-Press, 1988.

Мария в 1913 году вышла замуж за своего троюродного брата, агронома Ивана Вячеславовича Якушкина, также потомка декабриста, но принадлежавшего к семье традиционно левых взглядов.

Драма революции катастрофически изменила жизнь — вся семья оказалась в эмиграции. Только младшая дочь Мария почти случайно осталась в России, но для нее это было счастьем.

Сохранившиеся в семье Якушкиных воспоминания Александры Федоровны Пуцвиной и Марии Федоровны Якушкиной, стихи Варвары Федоровны Татариновой, а также некоторые письма имеют разное происхождение. Воспоминания А.Ф. Пуцвиной были написаны по-английски. Их экземпляр был лично передан автором родному племяннику, Дмитрию Ивановичу Якушкину, в те годы работавшему в ООН, и переведены на русский язык Иваном Георгиевичем Якушкиным. Стихи и переписка В.Ф. Татариновой были при отъезде в эмиграцию оставлены общему другу сестер — Николаю Ивановичу Кудряшеву, а по его завещанию попали к М.Ф. Якушкиной. Воспоминания М.Ф. Якушкиной были написаны для ее внука И.Г. Якушкина в начале 60-х годов XX века.

Эти материалы позволяют не только проследить за судьбой трех замечательных женщин, но и открывают их жизненную философию. На вопрос, в чем главный урок этих воспоминаний и заметок трех, в сущности далеких от политики женщин, лучше всего ответить словами, завершающими воспоминания старшей из сестер: «Когда я читала (воспоминания) своему внуку, он сказал мне: “Почему ты пишешь только о хороших людях? Ты должна была встречать также дурных и неприятных людей и включить их в свои воспоминания. Это бы сделало их более захватывающими”. Я сказала: “Конечно, я встречала разных людей, но, к счастью, я знала тех, чья доброта светила мне всю жизнь, и это делает мне их особенно памятными, и эту память я должна сохранить”».

### **Из воспоминаний А.Ф. Пуцвиной: о семье**

Мой отец, Федор Васильевич Татаринов, орловский помещик, был человеком либеральных взглядов. Он был одним из пионеров и энтузиастов местного самоуправления (земства) и ко времени моего рождения был председателем Орловской земской управы и мировым судьей. Круглый год мы жили в своем имении Хотетово (ранее Потемкино) в 25 км от Орла. Бабушка Александра фон Рутцен, когда ей было 17, влюбилась в Василия Татаринова, веселого владельца поместья вблизи Орла. Семья фон Рутцена считала его неподходящим для Александры, потому что он не был состоятельным и к тому же любил выпить, таким образом, ему было отказано в посещениях дома и запрещено видеть Александру. Однако они продолжали тайно встречаться в парке, куда она приходила переодетая крестьянкой. Он убедил Александру бежать с ним, и они обвенчались в деревенской церкви в присутствии двух друзей как свидетелей. Через некоторое время Александру простили, и в приданное она получила имение Хотетово. Моя бабушка обожала своего мужа, ради которого она поменяла религию, из протестантки она сделалась православной. Он умер, когда моему отцу было 11 лет, и моя бабушка оплакивала его всю жизнь.

Отец был членом конституционно-демократической партии. Ее целью было конституционное правление, ограничивающее власть царя посредством выборных народных представителей. Через резолюции партийных конференций, земские и муниципальные съезды, газетные статьи, которые поддерживали их идеи, либеральные деятели пытались влиять на придворные круги, Государственный Совет и общественное мнение. Отец верил больше всего в образование. Сельские школы-



А. Ф. Пуцина

ные учителя постоянно посещали наш дом. Отец устроил библиотеки и читальни при школах в деревнях, примыкавших к нашему имению. Если, как он надеялся, однажды император соберет народных представителей, которые будут избираться всеми классами, то он хотел способствовать образованию массы крестьян, чтобы они могли осознать свою ответственность и свои возможности. Потому он выписывал лучшие газеты и журналы для этих библиотек и сам встречался со старейшими жителями деревень. Я вспоминаю, как впервые отец пригласил группу старейших крестьян на чашку чая. И Ненни (няня Авдотья Федоровна) с негодованием отнеслась к идее приглашения таких неотесанных, необразованных людей как равных... Однако отец провел свою первую демократическую встречу и продолжал свои усилия по образованию крестьян, пока в 1905 году не была собрана Первая Дума, в

которую он был избран представителем от города Орла.

Пока мы жили в деревне, мы ходили в церковь каждое воскресенье, и нас наставлял в религии деревенский священник. Отец был тогда церковным старостой, и он любил петь в хоре и читать в церкви. Но потом произошло нечто, что заставило его разорвать тесные связи с церковью. Насколько я помню, причина была в новой инструкции, данной священникам священным синодом, предписывавшей обязательное информирование о политической неблагонадежности, которую священники должны были выявлять. Отец лично ходил к орловскому епископу, чтобы объяснить тому, почему, как он считает, это нанесет вред церкви, но так как этот визит не имел результата, отец прекратил свою деятельность в местной церкви, хотя священник продолжал давать нам уроки религии, и мы продолжали посещать церковную службу.

Моя мать была по происхождению болгарка. Ее два дяди, братья Каравеловы, получили образование в Московском университете. Они были большими болгарскими патриотами, целью жизни которых было освобождение Болгарии от турецкого ига. Русское правительство не объявляло официальной войны Турции за освобождение своих славянских соседей, но поддерживало создание добровольческой армии, которая, в конце концов, двинулась против турок. Руководителями этих добровольцев были братья Каравеловы, в честь которых в Софии воздвигнут памятник. Среди их ближайших друзей по Московскому университету были три молодых русских офицера, позже связанных с моей семьей: Александр Цуриков, Иван Н. Пуцин (сын декабриста Пуцина), женатый на его сестре Юлиане Цуриковой, и Александр Нарышкин, женатый на другой его сестре, Елизавете Цуриковой. Обе эти дамы также отправились на войну как сестры милосердия. Через некоторое время русская армия достигла Болгарии, некоторые города и целые области которой были почти уничтожены турками и среди убитых были сестра Каравеловых и ее муж. Трое ставших сиротами маленьких детей остались живы. Двух младших приютили соседи, а старшего ребенка — Марию, которой исполнилось 7 лет, взяли в Россию три офицера, друзья братьев Каравеловых. В конце кампании она ехала на лошади перед денщиком, сопровождавшим офицеров, а позже Александр Цуриков отвез ее домой, в имение Лебедка около Орла. Его мать,

Варвара Карловна Цурикова (урожденная фон Сталь), была человеком исключительной доброты и благородства. Она позаботилась о маленькой сироте и воспитывала ее в своем доме, как собственного ребенка до 12 лет... Когда моей матери было 16, она встретила моего отца на балу в доме губернатора. Она была красивой молодой девушкой, привлекательной и полной жизни. Отец влюбился в нее и сделал предложение через госпожу Цурикову, которая приняла предложение в интересах Марии и поручила своей дочери, госпоже Варваре Цуриковой, сопровождать Марию в имение Хотетово, чтобы представить ее матери Федора, моей будущей бабушке. Мать была тогда очаровательной, но легкомысленной, пылкой девушкой, и бабушке выбор сына не показался удачным. Однако он женился на Марии и обожал ее в течение всей своей жизни. Бабушка же никогда не смогла понять и принять легкомысленное отношение моей матери к жизненным проблемам.

Мать не интересовалась политикой, но она была полезна жителям деревни в другом отношении: она пробовала лечить больных и в одном из флигелей нашего дома принимала их. Она не имела медицинского образования, но т.к. ближайшая земская больница была в 8 верстах, то возникла постоянная необходимость в помощи больным людям, иногда срочной после несчастных случаев. Моя мать проявляла смелость и решительность особенно в тех случаях, когда деревни были захвачены такими эпидемиями, как холера или тиф. Доктор приезжал, чтобы дать инструкции, а мать следовала им. Она не боялась заразиться сама, но была очень внимательна, защищая нас от инфекции, особенно в случаях детских болезней — как скарлатина или дифтерит (в то время не было прививок или антибиотиков). Моя мать ненавидела жестокость, где бы она ни проявлялась, и никогда не колебалась ей противостоять. У меня есть два ярких воспоминания о подобных случаях. Однажды испуганная маленькая девочка прибежала из деревни, упрямивая мать вмешаться, т.к. ее отец вернулся домой из города пьяный, поссорился с матерью, затолкал ее в сухой колодец и стал бить сверху поленом. Мать немедленно бросилась на место действия. Она велела мужчине сейчас же перестать бить жену. Бедную женщину вытащили с помощью соседей, и мать проводила ее к нам домой. Женщина имела сильные ушибы и оставалась в постели несколько дней. Мать была так возмущена, что обещала женщине устроить развод, процедуру очень редко имевшую место в России того времени. Однако женщина решила простить мужа, оправдывая его тем, что он был пьян, и возвратилась домой, как только ее повреждения зажили.

Другой случай произошел, когда в нашей местности были военные маневры. Солдаты жили в палатках, а офицеры попросили поселить их в комнате в нашем доме. Я стояла около качелей вблизи террасы, а один из денщиков раздувал самовар, чтобы разжечь угли, когда офицер сбежал по ступенькам с террасы, крикнул что-то яростно солдату, который вытянулся перед ним, и тогда офицер ударил его дважды по лицу. Мать видела это с террасы. Она подбежала к балюстраде и крикнула офицеру: «Покиньте мой дом сейчас же... сейчас же... Мы не позволяем бить людей в нашем доме. Уходите сейчас же!» Офицер выглядел очень раздосадованным и разозленным. Он сказал: «Вы не имеете права вмешиваться в мои действия... Вы не имеете права отказывать нам в помещении. Мы будем жаловаться губернатору». Мать сказала: «Вы можете жаловаться кому угодно, но я не потерплю вас в моем доме. Собирайте свои вещи и уходите». Офицер вернулся в дом, и скоро я увидела, что все они удалились. Я не думаю, чтобы они подавали жалобу губернатору, т.к. мои родители больше ничего не слышали об этом инциденте».

Моя младшая сестра, Матя, была хорошей наездницей, она объезжала любую молодую лошадь, садясь на нее без седла. Я совсем не была хорошей наездницей после несчастного случая, когда молодая лошадь поскакала и сбросила меня на

аллее, и я ударилась головой о корень дерева. Мои сестры и брат не переставали дразнить меня за это падение, утверждая, что на месте, которым я ударилась, на голове осталась большая дыра.

Кроме того, что была замечательной наездницей, Матя была специалистом по выхаживанию осиротевших животных, будь то котенок, щенок, теленок, ягненок или жеребенок. Однажды, когда Мате было восемь, ее любимая молодая собака по имени Неро, которая еще не была хорошо обучена, погналась, играя, за уткой с утятами и придушила несколько прелестных утят. Отец велел конюху поймать собаку, привести к мертвым утятам и задать ей хорошую трепку. Конюх нигде не мог найти собаку, а моя сестра Матя также исчезла. Больше часа прошло в тщетных усилиях найти их. Наконец, Ненни услышала какие-то звуки под своей кроватью и, подняв покрывало, она увидела Матю, лежавшую там в обнимку с собакой. Собака была передана конюху для наказания, а Матя горько рыдала в объятиях Ненни. Мать постаралась объяснить ей необходимость наказания, но Матя твердила сквозь слезы: «Если бы твой Юра был так наказан, ты бы тоже плакала, а я люблю Неро как сына». Когда ей было десять, Матя взяла на себя заботу о маленьком жеребенке, с огромным терпением выкармливая его молоком из бутылки. Жеребенок стал таким ручным, что приходил по ступенькам на террасу. Когда пришло время нам уезжать в город, Матя была так несчастна от того, что покидает своего воспитанника, что родители позволили ей взять жеребенка с собой. Так как мы обычно брали с собой на зиму двух наших коров, потому что покупное молоко считалось вредным для здоровья детей, то жеребенок был помещен в стойло с лошадьми и коровами. Проблемы начались, когда Матя захотела, чтобы жеребенок мог размяться, и настаивала на том, чтобы вести его за собой за уздечку, когда она и наш брат Юра ходили на прогулку с учителем немецкого языка. Молодой человек протестовал против того, чтобы его видели гуляющим по улице с жеребенком, так что, в конце концов, Матя стала гулять с Ненни, не возражавшей против жеребенка.

Когда мне исполнилось 12, мы переехали в Орел на зимние месяцы. В это время мой отец был избран председателем местной земской управы, которая отвечала за сельские школы, больницы, строительство дорог, агрономическую помощь населению. Это была разнообразная и самостоятельная сфера деятельности. Отец был счастлив и поглощен этой работой, как и другие либеральные люди из провинции, включенные в земскую жизнь. Кроме этой работы, отец, живя в Орле, имел возможность удовлетворить свою любовь к музыке. У нас в гостиной было два рояля, так что иногда мы играли симфонии в переложении для восьми рук, иногда играли струнную музыку — квартеты или квинтет Шумана. Лаврентий Пуцин, мой будущий муж, имел хороший голос и пел оперные арии с моим аккомпанементом. Эти музыкальные вечера привлекали в наш дом много участников — людей разных политических взглядов, консервативных и либеральных, но любящих музыку. В первые годы нашей жизни в Орле не было сильных политических противостояний. К несчастью, это случилось тогда, когда я и Лавруша Пуцин полюбили друг друга.

## Революция 1905 года

Годы, последовавшие за неудачной Русско-Японской войной, принесли много тяжелого России в целом и нашей семье особенно. Социал-революционная пропаганда начала оказывать влияние на массы, по всей России совершались убийства официальных лиц реакционного направления, включая убийство Великого князя Сергея Александровича. В Москве либеральные деятели собирались на многочисленные конференции в столицах, требуя конституционной реформы, без ко-

того они отказывались служить государству на официальных должностях. Отец часто отсутствовал дома, посещая конференции, и у него возникла сильная неприязнь по отношению к реакционерам, которых он винил в том, что они ведут Россию к катастрофе.

В 1905 году, когда мы поженились, политическая жизнь России пришла в расстройство в результате неудачной войны и революции. Как я упоминала, избранная населением Первая Государственная Дума была распущена. Тогда 180 депутатов собрались в Финляндии и выразили протест против роспуска, обратившись к народу. На собрании перед отъездом в Финляндию на квартире, которую мой отец занимал совместно с председателем Думы, отец возражал против этого обращения и отказался в нем участвовать. Его кузен Александр фон Рутцен подписал воззвание и был впоследствии подвергнут тюремному заключению. Мой отец был снова избран от Орла во Вторую Думу, собравшуюся в 1907 году и на этот раз разогнанную. После этого был изменен избирательный закон, в результате чего отец не был избран в Третью Думу. Так как он понимал, что теперь работа в земстве также для него закрыта, поскольку он не хотел сотрудничать с правительством, отец решил приобрести новую профессию, которая была бы полезна обществу. Поэтому он снова поступил в Московский университет, чтобы изучать юриспруденцию, хотя ему было уже 47 лет. Через два года он получил диплом и стал адвокатом. Он очень волновался, когда защищал своего первого клиента. Это было другое поле независимой гуманитарной деятельности, приемлемое для моего отца.

Борьба между правыми и либералами становилась все яростней под давлением страха и подозрений, так что в земские органы выбирались только ультраконсервативные, часто совсем неподходящие люди — людей выбирали за их консервативные убеждения, а не за способности и умение работать, люди противились всяким реформам, такая борьба шла всюду даже в правительстве. Неподходящие, узко мыслящие люди выдвигались на министерские посты, в то время как талантливые либеральные деятели избегали этого. Неудовлетворенность росла по всей России, революционная пропаганда достигла деревень, восстания охватили целые районы.

Однажды наши собственные рабочие прекратили косить луг, положили косы и вернулись в деревню, где состоялся митинг с участием приезжего оратора, а в полдень слуга моего свекра Емельян пришел к Лавруше в полном расстройстве, чтобы сказать, что все наши слуги собрались уйти из-за угрозы, что их собственные дома в деревне будут сожжены, если они останутся. Он упрашивал Лаврушу простить их и взять назад на службу, когда все кончится. Лавруша позволил всем уйти, попросив не беспокоиться и вернуться как можно скорее. Все слуги ушли за исключением нашей старой экономки Фени, у которой не было родственников в деревне и которая не беспокоилась о своем доме. Вечером верховой приехал сказать мужу, что жители двух соседних деревень собрались разграбить и сжечь один помещичий дом в нашей округе. Лавруша верхом поскакал в это имение, послав верхового за полицией. Перед отъездом он дал мне свой револьвер для защиты на случай опасности, хотя, вероятно, я бы побоялась использовать оружие. В нашем имении было несколько поджогов: подожгли стога сена около одной из ферм, а также оранжерею в саду. Через два дня прибыл отряд казаков, чтобы арестовать организаторов беспорядков. Они расположились на поляне между церковью и пристройкой, где был кабинет мужа. Скоро собралась толпа несчастных женщин, которые громко рыдали и причитали, как женщины всегда делают на похоронах, между тем как мужчины были взяты казаками и полицией и отправлены в Орел.

Однажды утром в конце августа 1906 года, когда мы завтракали на веранде,

кучер привез почту, которую он ежедневно забирал для нас на станции Нарышкино. Просмотрев одно из писем, Лавруша быстро засунул его к себе в карман. Это письмо чем-то встревожило меня, и я попросила Лаврушу показать мне его. Он ответил, что неважное деловое письмо. Но я настаивала, и, наконец, он сказал: «Вы можете посмотреть его, но не должны относиться к нему слишком серьезно — кто-то хочет запугать меня... Я не хотел Вас беспокоить, но вот оно». Письмо гласило: «Орловская секция партии социалистов-революционеров приговорила Вас к смерти за Ваши действия против народа». Так Лавруша беспокоился о том, чтобы письмо не испугало меня, я постаралась остаться спокойной, хотя на самом деле была страшно взволнована и не могла забыть об этом письме. Я ожидала рождения первого ребенка через месяц и что я могла сделать? В конце концов, я предложила Лавруше взять отпуск и уехать вместе со мной из Лебедки, пока не родится ребенок в более мирной и безопасной обстановке. Я чувствовала себя такой несчастной, что мой муж согласился. Мы уехали на шесть недель к его тетке в Калугу, где 8 сентября 1906 года родился наш сын Иван.

В 1912 году мой муж был избран в Четвертую Государственную Думу, и мы переехали в Санкт-Петербург вместе с четырьмя детьми — Иваном, Екатериной, Натальей и Варварой. Лавруша получил придворное звание камер-юнкера и выполнял определенные обязанности при императорском дворе. Выборы Лавруши как депутата в Думу свидетельствовали о победе правой партии, и празднование этого события происходило в дворнянском собрании, расположенном в большом белом здании в центре Орла. У мужчин был обед в большом зале с шампанским и многочисленными речами, а дамы наблюдали за этим с балкона, который располагался вокруг зала. Я взяла с собой сына Ивана посмотреть праздник. Ему было только шесть лет, и он не мог понять содержание речей, но был доволен, видя, что его отца приветствуют с таким энтузиазмом. В Думе Лавруша принадлежал к ее правому крылу.

Одним из наиболее интересных и приятных людей, которых мы встретили в Петербурге, был Анатолий Федорович Кони, сенатор, член Государственного Совета и писатель. Ему было уже за 70. Он знал и хорошо помнил много замечательных людей и принимал участие в либеральных реформах императора Александра Второго. Картина эпохи ярко отражена в его книгах. Он был другом Льва Толстого. Однажды, беседуя с писателем в Ясной Поляне, он рассказал ему историю, в которой сам участвовал, как молодой следователь и намеревался написать об этом книгу. Это была история Катюши Масловой, и она очень заинтересовала Толстого. Через несколько месяцев Толстой написал Кони письмо, спрашивая, собирается ли он использовать этот сюжет для романа. Кони ответил, что не собирается, т.к. не имеет времени для написания книги. Тогда Толстой написал, что он рад этому, т.к. пишет роман («Воскресение») сам, и поблагодарил Кони за тему.

Через несколько месяцев после того, как мы покинули Россию, я послала Кони открытку, выражая надежду, что с ним все благополучно в Петрограде, и была очень рада получить ответ, также открытку, в которой была цитата из стихотворения Хомякова:

Не брошу плуга, раб ленивый,  
Не отойду я от него,  
Покуда не прорежу нивы,  
Господь, для сева твоего.

Это объяснило мне причину, почему он не покинул Россию, как многие другие.



## II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914–1917 гг.)

Летом 1914 года началась Первая мировая война. По словам Анны Ахматовой: «Начинался не календарный, настоящий двадцатый век». Охваченные патриотическим порывом, который был тогда в русском обществе, дворянские и земские организации за свой счет обустраивали лазареты для раненых и отправляли на фронт санитарные поезда.

Чтобы показать масштаб этой работы, обратимся к статье В.Е. Воронина «Земство в годы Первой мировой войны и революций 1917 года»: «1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. Московская губернская земская управа сразу же образовала комитет по оказанию помощи раненым воинам. Начался широкий сбор пожертвований. Кроме того, московское земство приняло решение использовать для приема больных и раненых воинов земскую больничную сеть и, ввиду недостаточности данной меры, перестроить для лечебных целей помещения, расположенные вблизи медицинских учреждений. Московское губернское земское собрание решило предложить всем губернским земствам образовать общероссийскую земскую организацию и выделило на эти нужды 500 тыс. руб. Правительство обусловило создание такого объединения требованием, чтобы его деятельность не выходила за рамки медицинской и благотворительной помощи действующей армии. Затем состоялся Всероссийский земский съезд, на котором был образован Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам.

К 1 сентября 1914 г. Земский союз обеспечил устройство госпиталей и лазаретов на 60 тыс. коек, к концу 1914 г. — на 155 тыс., а к концу 1915 г. — на 173 тыс. Главный комитет Земского союза ведал также созданием санитарных поездов для перевозки раненых. К середине октября 1914 г. уже имелось 35 таких поездов, к 1 января 1915 г. — 40. Набор и подготовка медицинского персонала, обеспечение лечебных учреждений медикаментами также изначально входили в сферу деятельности Земского союза. Врачей не хватало. Медики, поступавшие на службу Союза, не пользовались освобождением от призыва на военную службу. За первые пять месяцев войны из 1660 врачей, подавших заявления о приеме на работу в Союз, удалось принять лишь 298. Чтобы помочь земцам решить проблему, правительство санкционировало досрочный выпуск специалистов медицинских факультетов университетов. Для пополнения среднего медицинского персонала земские управы открывали курсы сестер и братьев милосердия. Медикаменты поначалу закупались Союзом за границей. Но затем в Москве был открыт фармацевтический завод, ежегодно производивший продукцию стоимостью более 1 млн. руб. Для больных закупались белье и теплая одежда. Финансы Земского союза складывались из взносов местных обществ, пожертвований и субсидий правительства. К концу 1915 г. они составляли 152 млн. руб. Правительство передало в ведение Союза снабжение продовольствием и медикаментами самого фронта. Главный комитет Союза первым делом принял решение о формировании и отправке на фронт врачебно-питательных отрядов. На фронте открывались полевые госпитали, действовали банно-прачечные отряды, починочные мастерские, всевозможные склады, пекарни и др. К концу 1915 г. на фронте насчитывалось около 2,5 тыс. различных заведений, устроенных Земским союзом: на Западном фронте — 931, на Юго-Западном — 1239, на Северном — 176, на Кавказском — 214. В 1915–1916 гг. фронтовые госпитали Земского союза обеспечили прием свыше 320 тыс. раненых. По линиям следования поездов с ранеными вглубь России открывались питательные и перевязочные пункты. В одной из действующих армий летом 1916 г. насчитывалось более 280 организаций Союза (более 3 тыс. человек персонала). Основную часть составляли медицинские службы».

Семья Татариновых не осталась в стороне от происходящего. Юрий Федорович ушел на фронт, а его сестры стали сестрами милосердия. В организации лазарета в Орле, а также специального санитарного поезда активное участие принял Лаврентий Иванович Пущин. Александра стала работать в этом поезде. Мария — в госпитале в Москве, а Варвара уехала на фронт.

«Бывают минуты в жизни, когда нельзя жить своим личным. Бывает так, что человек перестает чувствовать себя, когда невидимая сила не дает ему спокойно жить, толкает его и говорит — иди. И я пошла, — писала тогда Варвара Федоровна. — С крестом на груди я бросилась в водоворот. Я жила общей радостью, тонула в чужом горе».

До весны 1915 года В.Ф. Татаринова работала в санитарном поезде в Галиции, в районе Львова. Потом она взяла отпуск по болезни сердца и после лечения летом отдыхала в Тифлисе. Осенью она вернулась в действующую армию, сначала в штаб. В конце декабря Варвара Федоровна пишет одному из своих друзей: «Работы много, но она какая-то не настоящая, не гожусь я на командные роли, душа не лежит. Решила все бросить и идти в передовой отряд, если только удастся это устроить».

С весны 1916 года Татаринова находилась вблизи передовой в полевом лазарете-лечушке. Летом оказалась под Луцком, как раз во время знаменитого Брусиловского прорыва, ставшего одной из наиболее успешных операций русской армии, но унесшего много человеческих жизней. Впечатления войны, страдания людей и ее неудачное ведение — все это отразилось в письмах и стихах В.Ф. Татариновой.

На фронте она писала стихи почти каждый день. Писались они спеху, в черновиках не видно следов поправок. По существу, это дневниковые записи в стихотворной форме. С литературной точки зрения они очень неравноценны, хотя дарование автора очевидно. Необычный поэтический образ автора рисует адресованное Татариновой письмо ее друга, познакомившегося с ней на фронте. В феврале 1917 года он писал:

*«До чего ты красива! Как представляю себе, так хорошо становится на душе — сердце замирает. Хочется закрыть глаза и держать, держать все время твой образ. Не могу найти подходящих сравнений, чтобы яснее представить тебе, какой я нахожу тебя. То кажется, ты такая же красивая, как утренняя заря, то кажешься словно небосклоном, усыпанным сплошь звездами, то запахом цветов, — ну, словом, тем, что вечно хорошо. Когда-то давно, кажешься, еще в Кашевке, сравнил тебя с музыкой, и верно, ты столько даешь настроений, как только она одна может дать. Милая, ведь музыку невозможно не любить. Сама посуди, мыслимо ли мне когда-нибудь разлюбить тебя. Ведь это абсурд и нечего об этом говорить. Вспомнилась твоя песня. Сколько дум навеивает она. Ах, как хочется на волю, в степь. Носилась бы с тобой, и все бы нам было нипочем. Мы жили бы только с ветром, звездами и верными друзьями — лошадьми. Ты любишь разговаривать с ветром? Он такой сильный, так говорит, что сердце замирает, и хочется отдаться ему и унести вместе с ним далеко-далеко ото всех. А знаешь, у нас, за Доном, есть еще степи, где на сотни верст нет ни одного жилья, кочуют там калмыки, которые теперь вошли в наше войско и стали селиться по Дону. Вот видишь, это несбыточные мечты. А какими сильными и свободными мы могли бы быть».*

Стихи Варвары Федоровны Татариновой дают возможность почувствовать эмоциональное состояние людей в те дни и месяцы, когда вершится история. В стихах с большой силой и искренностью выразилась тоска молодой женщины по утраченному миру, в котором главным для нее были совсем не материальные ценности, а необыкновенный строй отношений между людьми. Вместе с тем в стихах выражена и надежда на обновление жизни, которая перед революцией представлялась молодому Татаринову сознанию лишенной смысла и будущего.

В начале 1917 года лазаретная «летучка» была расформирована из-за острого конфликта главного врача с армейским начальством. Варвара Федоровна, активно поддерживая своего главного врача, уехала хлопотать за него в Минск, затем в Москву. Из этих хлопот ничего не вышло, и с весны 1917 года она взяла отпуск.

### На фронте и в тылу (Из переписки В.Ф. Татариновой с Н. Домогацким)

Николай Домогацкий, сосед Татариновых по имению, был близким другом Варвары Федоровны. Не призванный в армию (по-видимому, как единственный сын), он, с ноября месяца переехав в Москву, активно включился в работу земства по помощи фронту.

Письма относятся к 1914–1915 годам. Варвара Федоровна писала в основном из Львова, откуда санитарный поезд совершал рейды в направлении фронта, находившегося на территории Австро-Венгрии через Карпаты и реку Сан до г. Тарнов, недалеко от которого шли затяжные бои.

*В. Татаринова — Н. Домогацкому,  
15 Октября. Львов. 1914.*

Для начала предположим, что мы ночевали в нашей штаб-квартире — в Львовском Банке (это хоть и очень редко, но бывает). Галерея над входом, отгороженная занавесками и уставленная кроватями без матрасов, — общежитие для сестер. Мы встали утром и отправились наверх пить чай: исключительно военные и сестры. После чая все разбегаются покупать провизию на рейс (у нас кухни нет, и едим, что успеем захватить из Львова). Часов в 12 все собираются к обеду. Тут мы или едим, или, чаще всего, во время ожидания, появляется фигура старшего санитаря, который возглашает: «Сестры, немедленно на поезд». Мы все опрометью кидаемся собирать свои вещи, на сборы полагается 5 минут. Затем садимся на трамвай и отправляемся на вокзал. Полчаса уходит на то, чтобы разузнать, где именно стоит наш поезд. Когда мы это узнаем, отправляемся его отыскивать. Это целое путешествие: мы пробираемся по тормозам, подлезаем под вагоны, едем на подножке какого-нибудь проходящего поезда. Наконец, мы нашли свой поезд, бросили свои вещи по отделению и стоим у вагонов, ждем, пока санитары кончат свертыванье поезда. Команда: «Санитары и сестры, по вагонам», — и мы послушно залезаем по отделениям.

Едем. Поезд то тащится, как черепаха, то летит, как сумасшедший. Дороги отвратительные, так что вагоны все время накреныются, то в одну сторону, то в другую. На каждом полустанке нас задерживают, и мы стоим до бесконечности. На полдороге нам объясняют, что мы пойдем не туда, куда нам было сказано, а в совсем другое место. Мы уже этому не удивляемся — привыкли. Наконец, доехали. Сидим, ждем, когда нам скажут грузиться. Наконец, команда: «Сестры, к вагонам». Каждая из нас идет к заранее ей назначенному вагону, и начинается погрузка. Как это делается — объяснять очень долго, да Вы, вероятно, это знаете.

Когда вагоны погружены, пересчитываешь своих больных, расспрашиваешь, кто куда ранен или чем болен, что чувствует, и записываешь все в записную книжку. Смотришь, на местах ли санитары и все ли есть в вагоне, что нужно. Затем отправляешься к доктору, которому все это докладываешь. Если в числе моих вагонов есть с опасными или умирающими, я еду с ними в их вагоне, если не так опасно, еду в своем, причем, на каждой остановке я обхожу или вернее обегаю с риском сломать себе шею все свои вагоны, чтобы убедиться, все ли там благополучно. В чем состоит наша работа, Вы, конечно, знаете. Во

время останки тех из больных, которые нуждаются в перевязке, отправляем в перевязочную и во время перегонов перевязываем. С ранеными едем быстро, нас уже нигде не задерживают до самой станции назначения, где происходит выгрузка.

*Н. Дозогацкий — В. Татариновой,  
5 ноября. Москва. 1914.*

Меня война опутала-таки со всех сторон, несмотря на то, что я употребляю все усилия, чтобы не поддаться ее влиянию. И, возможно, что на днях я окажусь прямо прикосновенным к ней в качестве чего-нибудь по распределению раненых или еще хуже — по хозяйственной части. Если бы Вы могли себе представить, как я всею душою ненавижу эту проклятую войну, забравшую в свои лапы все и всех. Если она еще простительна как торжество силы, то прямо обидна власть ее над внутренней жизнью. А тут кругом жалобы на отсутствие работников. И иногда против воли чувствуешь неудобство, почти постыдность своего сидения сложа руки. Конечно, я всячески стараюсь затушить эти проблески, потому что нет такой работы, из-за которой стоило бы себя беспокоить, а если она и есть, то получить ее без посторонней помощи невозможно, помощи же я просить не буду. Вот и сижу между двух стульев и в сущности никакой пользы от этого нет. Работа ведь, как любовь — если захватит, так все забудешь и бросишь, а вот этого-то захвата сейчас у меня и нет.

*4 декабря. Москва. 1914.*

Работал я, как ломовая лошадь. И попадал домой только ночью и настолько раздраженным, что ничего хорошего написать не смог бы. Я занимаюсь эвакуацией раненых из Москвы. Работа однообразная, но связанная с большим количеством разъездов по Москве. До сих пор я работал в Анненгофской роще, а жил в Столовом. Судите сами, сколько времени берут разъезды. В моем ведении был пункт Кр. Креста, значит, хоть раз в день, если даже и нет приходящего поезда, нужно съездить, проверить состав госпиталя и распределить раненых, назначить отправку, вообще урегулировать жизнь пункта. Но эта часть работы не трудна, если принять во внимание, что я являюсь там представителем земства и главная моя задача — чисто внешняя: заставить всех обращаться за распоряжениями и справками ко мне.

Создателем института земских уполномоченных является В.П. Трубецкой<sup>4</sup>, а у него первенствующее положение земства — прямо больное место. Но, как я уже сказал, эта задача довольно легкая. Гораздо хуже чувствуешь себя в заседании межведомственной комиссии. Там сидят почти сплошь карьеристы и идиоты. Последних, к сожалению, больше! И вот там-то, где как раз решаются все важные для нас вопросы, подчас трудно бывает доказать, что 2+2 только 4, что если есть тысяча мест, то полторы тысячи раненых еще смогут поместиться, но три тысячи уже ни в каком случае. Итак, работа наша больше внешняя...

Пока мы стоим твердо, но если сделается очень скверно, пожалуй, я возьму какой-нибудь поезд да и махну в Галицию, а если не удастся, если не подойдет персонал, то уеду на Кавказский фронт. Оба союза и дворянская организация даже к моим услугам. Одно только останавливает: скучная там работа, да и той мало. Сверх этого, и самолюбие не позволяет уйти. Появятся и заместители. Тем более

---

<sup>4</sup> Владимир Петрович Трубецкой (1885–1954) — юрист, земский деятель, работал в Московском и Херсонском земствах. Последний владелец имения Узкое. После 1920 года в эмиграции. Принимал активное участие в создании Музея русского казачества и Русской консерватории в Париже. Умер в Нью-Йорке.

все-таки, что хоть сто рублей в месяц платят. Только нет теперь студента настоящего, все больше думает о связях да о карьере. Карьеристов я порой люблю, только настоящих, кто себя не гнет, а ломает, зато и другим спуска не дает. Только пусть он собою берет, умом, волею, ловкостью, а не фамилией, теплушками и прочей публикой. Последнего сорта людей появилось теперь много, очевидно, спрос на эту гнусную разновидность возрос.

Вот и боюсь я, что посадят кого-нибудь из таких фертиков, даже и не боюсь, а просто вражда у меня с ними врожденная, и не хочу я, чтобы могли они с высоты своего ничтожества на всех через головы глядеть. Однако я опять злюсь. Хотел я написать Вам, Варюша, хорошее письмо к именинам, самым тоном его порадовать, да вся беда, что пишу его я из депутатского собрания, и, как увидел все эти рожи Долгоруких, Бергов, Бруевичей, так опять озлился. Знаете, изредка только во сне отдыхаю. Только теперь, когда ужас смешался с грязью, я вполне понял, что любовь может сделать с человеком.



В. Ф. Татарина

***В. Татарина — Н. Домогацкому  
5 декабря. Львов. 1914.***

Вы не можете себе представить, как обидно и горько после всего, что мы переносим, видеть такое отношение. А переносим мы много, ох как много, Коля, только об этом не говорим и не пишем, так как мы не в России, мы с тем ехали сюда, и вся наша заслуга только в том, что мы исполняем свои обязанности, а это, конечно, не заслуга. А тяжело очень, и если бы Вы только видели, как мы живем, Вы бы это поняли сами. Ведь Вы не знаете, что такое ночной обход, когда в полной темноте бежим по насыпи, карабкаемся руками и ногами в теплушки, по колено в грязи и в воде. Вы не знаете, что значит, когда в одном вагоне — кровотечение, в другом — гангрена, в третьем — агония, когда мечешься из одного вагона в другой как угорелая и все-таки не можешь ничего сделать.

Вы подумайте, каково трое суток подряд сдавать на каждой станции трупы, с которыми Вы только что говорили, которым стремились помочь и которым, наконец, закрыли глаза. Да чего стоит один вид теплушки, полутемной, тесной, в которой стон стоит кругом, так, что, кажется, вся земля стонет. Что стоит сидеть неподвижно, как полено, и ждать, когда же он, наконец, умрет. И каких только ран, каких только страданий мы не видели. И как горько делается, когда после всего этого, измученная в конце, слышишь, как про тебя говорят с ушешкой.

***Н. Домогацкий — В. Татариневой  
10 декабря. Москва. 1914.***

В Москву приехал Государь, и по этому случаю совершенно прекратился подвоз раненых, так что у меня теперь осталось всего 300 человек, да и тех отдаю военному ведомству. А поездов нет.

Здесь — громадное затруднение, потому что теперь можно заниматься или вой-

ной в чистом виде, или карьерой при помощи войны. Попробую лавировать и ограничиться внесением своей доли беспорядка (иначе — внести свою лепту на дело родины) в то, что называется жизнью страны в военное время. Вношу я эту долю добросовестно, даже с некоторым воодушевлением, но по временам испытываю то чувство, о котором много говорят работающие в передовых отрядах: чувство бессилия и беспомощности в общей путанице. Здесь это ощущается менее остро, здесь все-таки больше возможности работать правильно, но порой неразбериха чувствуется сильно. Леночка (Е. Юрасовская, подруга В.Ф. — И.Я.) поступила сестрой в лазарет Кред. Об-ва. Она об этом, кажется, писала Вам. Госпиталь оборудован хорошо, даже чересчур хорошо. Можно было сделать лучше на большее число кроватей. Заведуют и работают в госпитале все, прикосновенные к Кред. Об-ву, и потому больше, чем где-либо проявляется склонность к интригам и неравенству. Это на Леночку сильно действует. Она не хочет понять, что всегда и везде человек остается существом в высшей степени эгоистичным. Война не может долго держать в руках всего человека и, в конце концов, он приспособится к ней. Приспособится как дурные, так и хорошие его стороны, и его ли вина, что первых больше. Чистой общественной работы только для других нет и быть не может. Альтруисты только в книжках встречаются, в жизни им места нет. Жизнь — это сплошная война, и несопротивляющихся просто съедят, даже не облизнутся! Есть люди, которым ничего непосредственно не достается от дела. Да берутся-то эти люди за дело только от скуки. Они снисходят до жизни, а в сущности, помогая, плевать им на тех, для кого они работают. Даже хуже: порой они жалеют тех, кому помогают.

Приблизительно так я говорил с Леночкой, но ничего с ней не поделаешь. Не может она подлости видеть, а на подлости ведь все построено. До сих пор она не может понять, как это можно швырять людей, как пешки, в огонь и многое другое проделывать.

**В. Татарина — Н. Домогацкому**  
**23 декабря. Львов. 1914.**

Милый Коля, Вы не удивляйтесь, что я вдруг стала так часто писать: я сегодня в размягченном настроении, чтобы не сказать в меланхолии — и хочется писать. Грустно сейчас у нас в поезде, часть народа уехала в отпуск, а в таком маленьком мирке, как наш, это ужасно заметно. Скучно и пусто. Нужно бы сейчас набираться сил для обратного рейса. Так как он будет длинный и тяжелый, но при таком настроении ничего не выходит. Удивительно странно, когда обычные традиции, на которые в другое время не обращаешь внимания, становятся так дороги, что, кажется, совершенно невозможным от них отказаться. Можете себе представить, что мы все в полном унынии от того, что нам, очевидно, придется грузиться в первый день Рождества и что праздник, т.е. его празднование, пролетел. Будь я в Москве, не все ли мне равно, есть этот праздник или нет, а здесь это кажется неизмеримо важным. Правда, здесь еще играет роль гусь и ветчина, вещи редкостные, которые мы приветствуем с энтузиазмом. Обыкновенная пища наша — щи и каша, иногда котлеты, так что какое-нибудь лакомство — тоже своего рода радость. И почему-то сейчас особенно тянет домой, в Россию, ужасно хочется повидать всех и пожить, хоть несколько дней так, как живут нормальные люди. Вы не подумайте, что я жалуюсь, живем мы очень хорошо, только до утомительности, до отчаяния однообразно. Сначала мы как-то стремились все вперед и вперед, доезжали до Равы, потом до реки Сан и все дальше: пока не стали ходить в Тарнов. А теперь я и стремиться перестала: не все ли равно, на какой платформе грузиться?

Города мы эти видим очень редко, да они и не представляют никакого интереса, остальное — однообразно до ужаса. Скучно становится. Правда, я стараюсь не поддаваться этому настроению, так как с ним жизнь в поезде будет трудна, а уехать

я не могу, так как меня не пустят. И не то что уговорами не пустят, а физически, так как с тех пор, как мы в ведении военного ведомства, наша свобода передвижения полетела к черту, и мы делаем уже не то, что хотим, а что прикажут...

Вот отвлеклась на несколько минут, и настроение стало лучше. Отвлечение — это переезд через знаменитый Сан. Здесь очень плох мост, и некоторые сестры боятся его, так что переходят его пешком, и каждый раз устраивают такой шум, что всякая меланхолия из головы выскочит. Мы как раз в эту минуту проходим через мост, и я осталась одна...

*27 декабря. 1914.*

Опять я не могла тогда кончить письмо, видно, не судьба была ему отправиться из Сокола. Я сейчас во Львове, и сегодня опять отправляемся в Тарнов, к большому нашему огорчению, так как эта линия надоела нам до чертиков. Милый Коля, пишите мне почаще, не считайтесь с тем, что не так часто получаете от меня: мне некогда ужасно, а главное — абсолютно нечего писать. Но когда возвращаешься во Львов, и нет писем — Вы не можете себе представить, как скверно делается на душе. Если будете милы — приеду в январе в отпуск.

*P.S.* Наш поезд, кроме уполномоченного, меня и еще одной сестры, которая приехала позже, получил Георгиевские медали и вообще на самом лучшем счету, так что мы изо всех сил стараемся поддержать свою репутацию. И еще одно, знаете, чем он знаменит еще более? Тем, что это поезд, в котором никто друг с другом не ссорится, а это такая редкость, что нас здесь абсолютно все знают.

*Н. Домогацкий — В. Татариновой*

*25 января. Москва. 1915.*

Я Вам уже писал, что в первой половине февраля я еду с десятым земским отрядом в Галицию. Страшно много организационной работы, и в это время будет самый разгар приемки лошадей и заказов.

Неужели и теперь мы не встретимся? А я-то, было, мечтал остановиться на несколько дней во Львове и поглядеть, какая Вы теперь стали. А то потом загонят меня в Карпаты, откуда уже не часто проедешь во Львов, тем более что мы с Володей Фрейбергом только вдвоем заведем конской частью, и заменить будет некем.

Знаете, после дня, проведенного на походный лад, — в автомобиле и на лошадях, — дня, за который я выпускаю тысячи ругательств, без которых очень трудно обойтись с конюшенной прислужгой, я иногда прямо краснею при воспоминании о Вас. Краснею, но наутро веду себя по-старому. Уж больно спешная работа. На днях, например, до 10 февраля мне предстоит самому объездить сотню лошадей, из них пятнадцать под верх для совершенно незнакомых с верховой ездой. Самому, потому что теперь ни за какие деньги не достанешь порядочного кучера, а солдат военного ведомства дает весьма туго. А кончишь эту физическую часть дня и сядишь за вычисления, чего и сколько нужно взять, чтобы не сесть в походе. Правда, такая работа очень интересна и потому придает много бодрости, но иногда берет свое чисто физическая усталость. *Н.Д.*

*7 февраля. Москва. 1915 .*

Одно меня только положительно убивает — это организационная неразбериха у нас в отряде. Можно и нужно сделать еще многое, но масса времени уходит на дипломатические кривлянья и прочие почтенные упражнения. Понемногу начинаю свыкаться с этой организацией, где официально все основано на доверии, а фактически приходится проверять каждый гвоздик. Но все идет к развязке и, быть может, числу к 20-му нам удастся выехать.

**21 марта. Москва. 1915.**

Мы теперь только начинаем поход и будем догонять кавалерийскую дивизию Драгомирова и должны встретить ее возле Дуклы. Во Львов я попаду очень скоро, да и попаду ли еще. А там вы уедете в Москву, куда я тоже скоро попаду. Теперь я пробую привыкнуть к общему разгрому, а главное, к удивительной заботности жителей и их недоверию ко всему русскому. По правде сказать, это не безосновательно. Понимаю вполне теперь Вашу любовь к поезду: у меня сейчас образуется такая тесная связь с отрядом, что, пробыв день вне его, я чувствую громадное лишение. Компания очень милая, и со многими установились самые теплые отношения еще в поезде. Нас четырех (опять квартет) так и звали «лошадиное купе», и оно было центром веселья. Постоянной нашей гостьей была одна из наших сестер, англичанка, очень милая и постная, но в то же время какая-то особенная. Мы ее зовем «союзная держава».

**«Весь ужас этих дней»  
(Стихотворения Варвары Татариновой. 1914–1916 гг.)**

\* \* \*

Затих, уснул вагон. Как сестры все устали,  
Перестрадали как за раненых своих...  
Их множество они перевязали  
И отдыхать легли. И вот вагон затих.  
А по полям все дальше поезд мчится,  
Везет в Россию он страданья и печаль.  
О, сколько же солдат домой не воротится,  
О, как мучительно их жаль.  
Вот остановка... Сестры побежали.  
В руке фонарик каждая несет  
И книжку. Лестницы навстречу им упали.  
Ночной обход.  
В теплушку на руках влезает  
С лекарствами уставшая сестра.  
Здесь раненный в живот в мученьях умирает,  
А у другого перелом бедра.  
Вот слышен возглас: «Доктор, ради Бога,  
Сюда идите. Очень плох больной».  
И этих возгласов так много, их так много,  
Так часто молишься за упокой.  
А этот вот вагон. Он совершенно новый,  
Но мрачен он и весь так странно тих.  
Лицо сестры здесь строго и сурово.  
Да... то вагон для тяжело больных.  
У каждого солдата в изголовье  
Здесь смерть стоит, подстерегает, ждет.  
Здесь речи нет уж об здоровье.  
О жизни речь идет.

*Дембица. 27 ноября 1914.*



Мы Богу молились. В Тарновском вокзале  
 Из досок сколоченный столик стоял.  
 На нем Богоматерь, три свечки мерцали,  
 И полон солдат был разгромленный зал.  
 И песнь новогоднюю громко и стройно  
 Пел хор санитаров. Был светел вокзал.  
 А там за окном было все беспокойно,  
 И грохот орудий так жутко звучал.  
 Мы сбоку у двери все вместе толпились.  
 На всех нас парадная форма была.  
 Священника возгласы вверх возносились.  
 Но нет, я молиться в ту ночь не могла.  
 Хоть было торжественно стройное пенье,  
 Прекрасно священник молебен служил,  
 Но гром орудийный мешал вдохновенью,  
 Молиться нам не было сил.

*Тарнов. 1 января 1915.*

## ДОРОГА В КАРПАТАХ

Высокие горы, покрытые снегом,  
 Поросшие лесом седые холмы,  
 И Днестр со стремительно-яростным бегом,  
 Пустое ущелье и рельсы... и мы.  
 Кругом обступили немые громады  
 И лесом повисли, и снегом сверкают.  
 Красотам природы мы вовсе не рады,  
 И мысли, тяжелые мысли мелькают.  
 Здесь эти вершины стояли извека,  
 И так же росли на них темные ели.  
 На песни и слезы, и смерть человека  
 Все так же спокойно и молча глядели.  
 По этим ущельям давно уж когда-то  
 Крылатые стрелы со звоном летали,  
 И слышалось ночью бряцанье булата  
 И крики, и звон преломившейся стали.  
 Но в прошлое канули бурные годы.  
 Тихонько дремали мохнатые дали.  
 И мирно здесь разные жили народы.  
 Смеялись, любили и землю пахали.  
 Седые вершины, покрытые снегом,  
 На тихую жизнь, улыбаясь, смотрели,  
 И Днестр со стремительно-яростным бегом  
 Работал для мирной и радостной цели.  
 Колеса истории вновь повернулись —  
 И вот, опозорив навек человека,

Прошедшая злоба и дикость вернулись  
Сюда же в начале двадцатого века.  
Но люди умнее теперь, чем когда-то:  
Они развились, оборотистей стали.  
Не слышно наивного звона булата,  
Они себе в помощь науку призвали.  
С чудовищной силою рвутся снаряды,  
И с воем зловещим шрапнели несутся.  
На все это смотрят седые громады,  
И волки зловеще и горько смеются.  
Нет, все мы убийцы, все подлые воры.  
И даже в культуре природа сказалась...  
Обруштесь мохнатые снежные горы,  
Да так, чтоб и пыли от нас не осталось.

*Турск. 29 марта <1915>.*

\* \* \*

Да, это так. Я одинока,  
Душа темна моя.  
Но жизни все-таки глубоко  
Взглянула в сердце я.  
Я поняла ее заданья,  
Ее живую речь,  
И боль последнего свиданья,  
И радость новых встреч.  
Я поняла полей безбрежность,  
И волн живой простор,  
В моей душе горела нежность,  
Звучал больной укор.  
Видала я, как утром рано  
Над дальнею рекой  
Вставали яркие туманы,  
Окрашены зарей,  
Летели гуси, свесив ноги,  
Могучий несся крик,  
Как по болоту у дороги  
Расхаживал кулик,  
Как суслик выползал из норки,  
Свой издавая свист,  
Цвели фиалки на пригорке,  
В зеленый прячась лист,  
Как птица в ветках щебетала,  
Природу веселя.  
Не говори, что не видала,  
Не знаю жизни я.

*Минск. 10 декабря <1915>.*

Раннее утро. Все выше и выше  
 Яркое солнце встает.  
 Молча сидим мы с Машей<sup>5</sup> на крыше,  
 В ужасе глядя вперед.  
 Нынче с постели вскочили мы рано  
 (Месяц с востока светил),  
 Звуки заслышав аэроплана:  
 Наш на разведку ходил.  
 Скрылся, сверкая в солнца сиянье,  
 Встречный там страшен бой.  
 Вот и сидим мы теперь в ожиданье  
 Рядом с печною трубой.  
 Нет, не вернется! Подбили, наверно,  
 Бой там идет два часа.  
 Дрожью мы с Машей трясемся нервной,  
 Дыбом встают волоса.  
 Курятся дали лиловым туманом.  
 Бедный! Сбит он, ей, ей.  
 Ну, да еще бы, когда ураганным  
 Палят с шести батарей!!!  
 Что это? Четкое сверху журчанье,  
 Снова гром пушек и дым.  
 Сердце колотится, в горле рыданье.  
 Молча на крыше сидим.

*Синявка. 30 апреля <1916>.*

\* \* \*

Как мало в жизни роз, зато как много терний.  
 Особенно теперь, особенно у нас.  
 О, что ты нам несешь, пожар зари вечерней?  
 Когда начнется бой, когда пробьет наш час!  
 Я знаю: ночь придет, во мгле ее туманной  
 Зловещей трескотней прорвется пулемет.  
 По звуку этому с тоскою несказанной  
 Мы догадаемся — полки пошли вперед.  
 Клубится пыль завесою янтарной,  
 Поля подернулись дымкой голубой.  
 Помедли хоть часок, о, вечер лучезарный!  
 Когда взойдет луна — тогда начнется бой.

*6 июня <1916>.*

<sup>5</sup> Мария Стриж, подруга и коллега В.Ф. по работе в лазарете.

Пред перевязочной палаткой  
Они стоят немой толпой.  
А я гляжу на них украдкой  
Из-под полы приподнятой.  
Молчат. Лишь только слабым стоном  
Молчанье раненый прервет.  
Они следят за небосклоном —  
На нас аэроплан идет.  
Быть может, бомбу бросит прямо  
В толпу плененных и больных.  
Какая жизненная драма  
Бесславно гибнуть от своих!  
Так, у палатки на пороге  
Толпою пленные стоят.  
И вверх в мучительной тревоге  
На «своего» они глядят.

*Ситница. 23 июня <1916>.*

## Из воспоминаний А.Ф. Пуцниной. В санитарном поезде

В 1914 году началась война с Германией. Мы видели императора, стоявшего на балконе Зимнего Дворца, объявившего о начале войны. Огромная толпа волновалась, люди опускались на колени, их глаза были полны слез. Патриотические чувства были сильны, и молодые люди стремились присоединиться к армии. Мой брат Юрий приехал в Петроград повидать меня в большом унынии. Как единственного сына его не призвали на военную службу, но он сказал, что ему стыдно оставаться вне армии, когда большинство его сверстников из соседних деревень находятся там. Он рассказал, что он ходил на призывной пункт в Орле и просил взять его волонтером, но доктор нашел, что у него слабое сердце, и не признал его годным. Тогда он решил поехать в Петроград и попросить меня помочь ему — иначе, как он сказал, он покончит с собой. Он напугал меня своим решением так, что я пошла к известному специалисту по сердечным болезням с просьбой дать ему свидетельство о годности к военной службе, что тот и сделал, и мой брат появился следующий раз в военной форме со шпорами на ботинках, гордый и счастливый. Мой муж, как и многие члены Думы, был озабочен снабжением армии и переводил свои ценные бумаги в военные боны. Лавруша попросил орловские власти принять наш дом, полностью оборудованный на сорок коек, в качестве госпиталя для раненых солдат, а меня попросили поработать начальницей этого госпиталя. Это было летом. Я находилась с детьми в Лебедке. Я согласилась принять эти обязанности и с няней и младшим ребенком, Марией, переехала в дом наших друзей в Орле, в первую очередь, готовя госпиталь для приема раненых, которых должен был привезти санитарный поезд прямо с Западного фронта. Глава Красного Креста принц Ольденбургский попросил Лаврушу самого формировать поезд с ранеными из Галиции, с фронта, за который отвечал Лавруша. Однажды я поехала во Львов навестить Лаврушу. Он взял меня с собой на пункт первой помощи, куда раненых привозили прямо с передовой. Их было очень много, так что всем не хватало места. Они лежали прямо на полу, а некоторые на траве снаружи здания.

После оказания первой помощи врачам их грузили на поезд Красного Креста. К несчастью, доктора были так перегружены работой из-за числа раненых, что не могли всем уделять достаточно внимания. Я поехала назад в одном из этих поездов в вагоне с тринадцатью тяжело раненными солдатами. Я давала им пить, а утром видела операцию, которую делали опасно раненному венгерскому военнопленному, который смотрел безумным взглядом и страдал от ужасной боли. У некоторых раненых начиналась гангрена, воздух в вагоне был почти невыносимым, и я время от времени выходила на площадку, чтобы сделать глоток чистого воздуха. Наш госпиталь все время был переполнен. В нем работали доктора и четыре няни и еще некоторые не имевшие навыков помощники. Так как у нас не было операционной, операции производились в военном госпитале около нашего дома, и большинство наших пациентов или ждали операций, или восстанавливали силы после них. У многих из них были прострелены легкие. Один пациент был привезен к нам вместе с партией других раненых прямо с поезда. Это был военнопленный австрийский офицер, далее он должен был быть переведен в военный госпиталь. Доктор попросил меня поухаживать за ним, т.к. тот не понимал по-русски. Он был тяжело ранен в бедро, мучился сильными болями, и я несколько раз в день приходила к нему, но он отказывался говорить и принимать пищу и лекарства. После первой ночи няня сказала мне, что он пытался убить себя, бросившись на пол с кровати, из-за чего у него открылась рана. Я пыталась убедить его выйти из этой депрессии и поест. Я спросила его, нет ли кого-нибудь у него дома, ради кого он хотел бы жить и поправиться. Тогда он сказал: «Мать». Я была рада услышать это признание и постепенно убедила его выпить ложку молока. Через два дня я уже давала ему легкую еду и лекарства, и я узнала от него, что он был издателем венской газеты, в которой он поддерживал политику Германии, будучи уверен в ее победе в предполагавшейся войне; он также сказал, что теперь потерял веру в эту войну, чувствует вину за политику своей газеты и за несчастья, которые война принесла Австрии. Он был симпатичным человеком, и мы постепенно стали друзьями. К несчастью, хирург был перегружен работой, и прошло несколько дней в ожидании операции. Несколько раз я просила санитаров отвезти его в операционную, но каждый раз его привозили назад, говоря, что хирург не может принять его, т.к. в первую очередь принимает своих раненых. В конце концов, оказалось слишком поздно, и бедного пленного нельзя было спасти. Однажды я слышала интересный спор между пациентами. Один из них, крестьянин из южной России, позвал меня: «Сестра, сделайте мне одолжение, напишите письмо моей жене» (он был неграмотный). Я принесла карандаш и лист бумаги, села около его кровати, и он начал диктовать: «Прежде всего, привет моей дорогой жене Алене и приветы всем (он перечислил разных родственников и друзей) и моя верная любовь тебе. Алена, прошлой ночью я видел сон. Я видел новый дом, по которому я ходил. Чудесный дом с зелеными деревьями вокруг него, но когда я проснулся, я понял, что этот сон — дурное предзнаменование, новый дом означает мою смерть... И я никогда больше не увижу тебя, Алена». Тут его прервал молодой казак с соседней кровати: «Плакать из-за женщины... они совсем не беспокоятся о нас. Что до меня, то я находил новую жену всюду, где я бывал». В это время пациент-еврей с другой кровати возразил: «Постыдись так говорить. Нет никого дороже жены. Я всегда помню о доме». Казак казался таким грубым и бесчувственным. Но ближе к ночи у него появился жар, на следующий день его состояние стало критическим, он был в полусознании, стонал и все время звал: «Мама, где мама? Катя... Иди сюда, Катя. Я умираю... совсем один. Никто не заплачет обо мне, некому любить меня. Где ты, Катя? Мама...» Ночью бедный мальчик умер. Конечно, его презрение к женщинам было только попой.

Некоторые из военных правил были странными. Всех пациентов-евреев, на-

пример, переводили в специальный госпиталь, не зная, делалось ли это правило впервые ограничения прав евреев или нет, но я слышала, что позднее это правило было отменено. Все пациенты, больные туберкулезом легких, также должны были быть посланы в особый военный госпиталь, которого люди боялись из-за большого количества случавшихся там смертей. Первая из этих проблем возникла в нашем госпитале, когда доктор узнал, что один из тяжело раненных, которому была отведена лучшая кровать, оказался евреем. Доктор сказал мне, что нужно устроить его перевод в еврейский госпиталь, особенно имея ввиду, что мы ожидали на следующий день инспекцию нашего госпиталя главой Красного Креста принцем Ольденбургским, замечательным человеком, но легко начинавшим гневаться. Я возражала против перевода из-за серьезного состояния солдата. Доктор сказал, что его долг выполнять приказ. Тогда я решила принять на себя ответственность за решение. Пациент был оставлен в нашем госпитале, а принц Ольденбургский его не заметил, и все кончилось благополучно. Трое из наших пациентов, у которых была прострелена грудная клетка, заболели туберкулезом и, согласно армейским правилам, должны были быть переведены в специальный госпиталь. Они сидели на своих кроватях, когда попросили меня подойти и выслушать их просьбу. Они объяснили, как они боятся помещения в туберкулезный госпиталь и не хотят там умереть. Они попросили меня пойти к генералу, инспектору военных госпиталей в Орле, и уговорить его позволить выписать их и отправить домой. Они сказали, что у них дома хорошие условия и есть жены и матери, которые будут за ними ухаживать, так что у них появится шанс на выздоровление. Я согласилась и устроила встречу с генералом. Сначала он был резко против нашей просьбы, объясняя мне, что люди больные туберкулезом, живя в деревенском доме, будут представлять опасность для всей семьи. Однако я настаивала не только потому, что жалела этих людей, но и по другой причине. Некоторое время назад мы с мужем в Орле были приглашены доктором на его лекцию о туберкулезе, в которой тот излагал свои необычные и тщательные исследования. Он рассказал, что у него был пациент, страдавший туберкулезом легких, не поддававшийся никакому воздействию, который прекратил лечение и, потеряв всякую надежду, уехал в деревню, чтобы, по мнению доктора, умереть. Однажды вечером две странствующие монахини попросили приюта на ночь в доме, где он лежал, больной и истощенный. Монахини сказали его жене, что они знают, как вылечить эту болезнь, но лечение трудное и тяжелое, требующее большого терпения. Жена попросила объяснить ей, что это за лечение, т.к. была готова сделать все, что в ее силах, чтобы спасти его. Они рекомендовали такой способ: взять четверть фунта жирной телятины, поместить ее вместе с четырьмя стаканами свежего молока в глиняный кувшин, плотно закрыть его и поставить в печь, еще теплую после выпечки хлеба, но с потушенным огнем и оставить на всю ночь. Утром жир и молоко превратятся в крем бледно-желтого цвета, который надо давать пациенту сначала по одной или две ложки, хотя он будет отказываться и даже чувствовать себя плохо после этого. Все равно надо продолжать давать, постепенно увеличивая дозы, пока он не привыкнет и даже не полюбит это снадобье. Одновременно у него появится аппетит, и он начнет требовать особую пищу, такую как мясо, рыба, белый хлеб, овсянка. Когда он захочет что-нибудь, надо стараться удовлетворять его желания. Наконец, он будет способен принимать два стакана лекарства в день, его силы вернуться, и он начнет выздоравливать. Жена пациента точно выполнила все эти инструкции. Нелегко было доставать свежую жирную телятину, и ей иногда приходилось ездить в Орел, чтобы получить ее у мясников. «А теперь, — заключил доктор свой рассказ, — вот мой прежний пациент, который любезно согласился подтвердить эту историю». На кафедру взшел пациент, который выглядел вполне цветущим. Доктор также показал рентгеновские снимки, сделанные до и после лече-

нья. На нас все это произвело большое впечатление, и я рассказала эту историю генералу. В конце концов, он согласился при условии, что я больше не буду обращаться к нему с подобными просьбами. Наши три пациента радовались успеху моей миссии. Они попросили меня сфотографироваться вместе. И эта фотография у меня сохранилась. Я написала им инструкцию монахинь, предупредив, что был всего один случай выздоровления, но они могут попробовать. Я попросила их написать мне о себе, но только один через несколько месяцев написал мне счастливое письмо с благодарностями. Он жил в Самарской губернии, и его жена замечательно ухаживала за ним и выполняла все инструкции. Он писал: «Вы теперь не узнали меня. Я здоров и силен и выполняю ту же работу, что и до войны».

Так как война становилась все ожесточеннее, армия требовала все больше госпиталей, и пришло время, когда наш госпиталь был присоединен к большому армейскому госпиталю, расположившемуся в соседнем доме. Когда моя работа в госпитале закончилась, орловская администрация попросила меня заняться работой по устройству беженцев, которые прибывали в Орел из районов, занятых германской армией. Я ездила по окрестным деревням, подыскивая жилье и оплачивая топливо и еду, которыми снабжали беженцев. Ситуация была трагической. Они приезжали на телегах, часто с одной или двумя коровами, привязанными к телеге. Была поздняя осень. Крестьяне занимали зимние помещения, которые они часто делили с молодыми животными, которые размещались рядом с печью. Поместить сюда и беженцев не было никакой возможности, им предоставляли только летние помещения, состоявшие из одной комнаты с лавками вдоль стен, на которых спали летом. Эта комната была с тонкими стенами, обычно без всякой печки. Местных помещиков попросили обеспечивать их соломой и дровами в качестве отопления, а земская администрация снабжала их продовольствием. Я объезжала деревню за деревней и наблюдала много печальных случаев — больных детей, страшно бледных или пунцовых от жара, лежавших на лавках на соломенной подстилке, матерей с новорожденными детьми в холодных, не отапливаемых комнатах, уставших и отчаявшихся мужчин. Впоследствии я с детьми вернулась в Петроград, где я пошла на трехмесячные курсы Красного Креста в одном из больших госпиталей, чтобы присоединиться к службе Красного Креста в качестве няни.

### III. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

Февральская революция была воспринята членами семьи Татариновых по-разному, и с этого момента судьбы их разошлись. Монархически настроенная семья Александры Федоровны тяжело переживала судьбу царской фамилии.

Остальные члены семьи отнеслись к Февралю как к долгожданному событию, хотя в будущее смотрели с тревогой. Изменение отношения к революции с течением времени хорошо видно по высказываниям людей их круга. При первых известиях о столкновениях населения с войсками друг семьи Татариновых вольноопределяющийся Николай Кудряшов записывал:

*«2 марта 1917 года.*

*В России начинается революция. Надвигается что-то грозное, ужасное, кровавое. Смутные слухи — были, кажется, вчера беспорядки в Петрограде и Москве. Дума, кажется, распущена. Кажется, останавливаются железные дороги. По крайней мере, была получена срочная телеграмма, приехал полковник, и мы экстренно едем куда-то, в Петроград, кажется, но ничего неизвестно. Что будет, не знаю. Что делать, не знаю. Беспорядки — это поражение, но и нельзя терпеть. Тревожные слухи растут, и, должно быть, они вырастут до чудовищ-*

ных размеров. Может быть, поедем через Москву, и тогда я надеюсь забежать домой. А что будет? Что будет?

**4 марта.**

Стоим еще в Радиборе. Скоро, должно быть, поедем. Ждем полковника призывов. Хочется вымыться, но не знаю, удастся ли.

**11 марта.**

*Свершилось!»*

А через несколько дней молодой казачий офицер, ставший летчиком, писал Варваре Татариновой:

*«Не удивляйся, что я на время замолк. Я не в состоянии был что-либо не только делать, но и думать. Радость моя так громадна, что я просто-таки обалдел от нее. Скажи мне, неужели все это правда и впереди только один свет и ничего грязного не будет? У меня так светло, так чисто в душе, как будто я вновь родился. Я верю, что скоро на земле будет рай, и ничто темное не коснется его. Мне кажется, что силы мои удвоились, что работа не будет только обязанностью, мне хочется ее, но я сейчас не могу положительно ни за что взяться. В настоящее время я способен только радоваться. Уверен теперь, что если погибну, то только за Родину, а не за тех, кому она была не дорогой и которые не добра и счастья ей желали, а гибели. Такого подъема, такого единодушия я никогда не видел. Это что-то сверх поразительное. Конечно, все, положительно все, отошло на задний план. Ни о чем другом абсолютно не хотелось думать. Не страшны нам немцы теперь, лишь бы не покинуло нас единодушие и не забыли, что они стоят перед нами и ждут момента, чтобы воспользовавшись этим временным замешательством раздавить нас. Понемногу я начинаю приходить в себя и, прежде всего, что я вспомнил, это — война. Нам здесь не надо ни о чем другом думать, чтобы не отвлекаться и не терять своей энергии. Этого я могу достигнуть и думаю, что не так уж будет трудно. Моя новая работа очень по сердцу, на нее-то и хочу отдать все свои силы. Уверенность в себе есть, и, мне кажется, сил тоже достаточно. Летал всего лишь два раза. Сегодня моя очередь идти на разведку, но погода испортилась, полет отложили до следующего дня. Ну, пока всего, всего лучшего!»*

Подобно многим людям своего круга, Варвара Федоровна восприняла Февральскую революцию как наступление счастливых времен. Она вернулась на фронт и окончательно покинула его только осенью 1918 года.

Федор Васильевич Татаринков по инициативе первого председателя Временного правительства князя Львова был послан правительственным комиссаром в занятый русскими войсками турецкий город Трапезунд, а позже назначен сенатором. Мария Андреевна Татаринкова так описывает этот период их жизни:

*«Мы процарствовали в Трапезунде недолго. Было там очень опасно, очень тревожно для Федора Васильевича. Очень утомительно, но красиво и интересно поразительно. Федора Васильевича и оттуда, и из Тифлиса ни за что не хотели пускать все инородцы и народы, но, оказывается, он уже с 10 мая был назначен сенатором, а мы ничего не знали в Трапезунде, не получая газет. Выходила на миноносце в лунную ночь (на носу под пушкой, а то очень качало). В морской бинокль все искали угрожающую лодку, я же лежала, любовалась луной, звездами, слышала, как плескались дельфины».*

Очень скоро, однако, все Татариновы стали осознавать надвигавшуюся на Россию тяжелую разруху. По возвращении с Кавказа Мария Андреевна Татаринкова пишет: «Настоящее безнадежно (в общественном отношении да и в личном неважно)».



Зимой 1916–1917 гг. Петроград был полон неприятных слухов, касавшихся императорской фамилии. Царевич Алексей страдал от гемофилии, и единственным человеком, который мог остановить ужасные кровотечения, был монах Распутин, человек страшной репутации, но которого многие считали святым и который был представлен ко двору одним из архиереев, верившим в его чудесные способности. Один из наших друзей, который принимал участие в секретном собрании высших чиновников, депутатов Думы, промышленников и представителей городов и Земства, сказал мне конфиденциально, что решено настаивать на отречении императора в пользу сына или, т.к. последний был еще мал, в пользу брата, Михаила Александровича, из-за всеобщего недоверия нации к людям, окружавшим трон, и особенно к несчастной императрице, безгранично верившей Распутину и следовавшей его советам.

В это время Лавруша получил письмо от одного из своих родственников с галицийского фронта, который умолял Лаврушу предпринять какие-нибудь шаги, чтобы облегчить безнадежную ситуацию на фронте, где войска были брошены под огонь врага, не имея вооружения. Правый депутат Думы Пуришкевич рассказал моему мужу о заговоре, организованном им, князем Феликсом Юсуповым и Великим князем Дмитрием Павловичем с целью убить Распутина, который был причиной самых ужасных слухов. Они убили Распутина, но это не прекратило слухи и не устранило недовольства. Московская газета опубликовала аллегорический рассказ о сумасшедшем шофере, который направлял автомобиль в пропасть... что было делать?.. сменить шофера. Однажды Лавруша пришел из Думы и сказал: «Вы должны быть рады — я решил покинуть правых и присоединиться к прогрессивному блоку, который создает депутат Шульгин».

Когда мы приехали в Петроград, Лавруша купил дом и несколько акров леса на финском побережье около станции Вомелсоо в районе Териок. В 1916 году мне стала неприятна атмосфера Петрограда, и я решила остаться в Финляндии на зимние месяцы с детьми, мадам Моурон, няней и двумя служанками, Дуней и Наташей. В доме не оставалось мужчин, т.к. мой муж продолжал жить в нашей квартире в Петрограде, навещая нас время от времени, а наш повар Павел был призван в армию. Однажды утром я услышала, что кто-то рубит дерево около дома, а когда Дуня принесла мне кофе, она сообщила, что наш прежний повар Павел сегодня утром приехал из Петрограда, где он находился, и предложил нарубить дров для отопления, потому что уже сентябрь и скоро могут начаться морозы. Павел был молодой человек из нашей деревни. Он прошел обучение у нашего старого повара Андрея. Я вышла поговорить с ним, и так как все солдаты принадлежали к различным партиям, я спросила его, к какой партии он присоединился, служа в армии? Без колебаний он сказал: «К большевикам». — «А что за цель у этой партии, Павел?» — «Мы хотим уничтожить буржуазию». — «Почему вы хотите ее уничтожить?» — «Потому что они слишком умные и ловкие, и если мы их не уничтожим, то они перехитрят нас и опять будут над нами господами». — «А нас вы тоже считаете буржуазией, которую надо уничтожить?» — «О нет, Александра Федоровна. Я никогда не позволю сделать что-нибудь плохое Вам и детям». Прощаясь с детьми перед уходом на станцию вечером, он подарил каждому ребенку по серебряной монетке на память. Больше мы его никогда не видели.

Я прочла в газетах об отречении императора и переходе власти к Временному правительству. Я решила поехать в Петроград повидать мужа и разобраться в том, что случилось. Финны радовались, и станционный мастер сказал мне: «Слава Богу! Лучшие времена приходят. В воздухе чувствуется весна». Я нашла Лаврушу по-

давленным. Он спросил меня о настроении финнов, и когда я рассказала ему, казалось, был доволен. Он взял меня посмотреть, что происходит в Думе. Огромные толпы окружали Таврический дворец и теснились у дверей. В толпе я заметила великого певца Шаляпина, который сказал мне, что «вдыхает народные страсти». Мы вошли в зал через боковую дверь дворца. Практически на каждом столе стояли ораторы и кричали о своем восторге по поводу падения тирании, прославляя революцию, обещая немедленный конец войны, высокое жалование и свободный передел земли. Мы стояли в толпе, когда граф Дмитрий Адамович Олсуфьев, член Государственного совета и дальний родственник моего отца, подошел к нам и вдруг воскликнул: «Смотрите, смотрите: пришел наш вождь. Пришел Керенский». Мы увидели, как толпа расступилась, пропуская г-на Керенского, который стал министром юстиции Временного правительства.

Это правительство существовало только короткое время, после чего другое правительство было сформировано Советом рабочих и крестьянских депутатов во главе с Лениным и Троцким, приехавшими через Германию, и лозунги этой партии действовали на большинство солдат, которые устали от войны и чья дисциплина была разрушена продолжительной пропагандой. Главные лозунги были «Мир и распределение помещичьей земли».

Император и его семья были арестованы и содержались под стражей. Отношение самого г-на Керенского к императору-пленнику было вполне уважительным. Бунт распространился по всей стране. Лавруша проводил дни и ночи в Думе, где он спал на матрасе в зале связи, принимая бесконечные телефонные и телеграфные сообщения. Один из его друзей Н.Д. Крупенский, тоже член Думы, рассказал мне, что когда мой муж получил телеграмму: «Адмирал Непенин убит, его заместитель ранен, Балтийский флот как боевая единица перестал существовать», Лавруша закрыл лицо руками и заплакал.

Толпы продолжали приводить в Думу арестованных — высших государственных сановников. Среди последних был Константин Кантакузен, муж Лаврушиной кузины. Лавруша выходил говорить с толпой, которая приводила арестованных. Он уверял их, что правосудие будет осуществлено по отношению к виновным в преступлениях против народа, и Лавруше удавалось освобождать некоторых из них, выпуская через заднюю дверь. Прежний премьер-министр Горемыкин был среди арестованных, и ввиду опасности, которая угрожала ему, если его схватят опять, он был оставлен во Дворце, и его сын, который был классным надзирателем у моего мужа в Александровском лицее, пришел повидать его здесь. Потом он рассказывал мне, что он пришел в Думу поздно ночью и нашел мужа спящим на матрасе в зале связи. Он спросил Лаврушу: «Какова позиция Временного правительства?», и Лавруша ответил: «Все пропало!» Он казался совершенно несчастным.

Я продолжала жить в Финляндии, где условия жизни были лучше, чем в Петрограде. Тут был, однако, недостаток белого хлеба, а так как моя младшая дочь Мария не могла есть финский черный хлеб, то я выходила взять займы белый хлеб или белую муку у соседей. Однажды Иван (сын) и я пошли в направлении форта Ино, русского военного укрепления. Мы увидели ехавшую к нам навстречу большую телегу, принадлежавшую местному мяснику, который обычно возил мясо из Вамелсоо в форт Ино. Сам мясник, финн, шел рядом с телегой, наполненной женщинами и детьми. Они выглядели странно, молчали и, казалось, были в забытьи. Когда мы приблизились, мясник остановился и спросил: «Вы слышали, что случилось в форте Ино прошлой ночью?» — «Нет, что случилось?» Мы были в ужасе, услышав историю ночных событий: предыдущим вечером он привез мясо в форт Ино, где нашел все в состоянии хаоса. Из Кронштадта приехал какой-то делегат, собравший большой митинг солдат и объявивший, что Совет рабочих и

крестьянских депутатов, представляющих новое правительство России, провозгласил окончание войны. Армия распушчена, все солдаты могут идти домой, земля будет распределена между всеми, кто вернется и предъявит свои права, а все, что хранится на военной базе, включая спирт, принадлежит всем, и все присутствовавшие на митинге постановили сломать все запоры и отпраздновать победу. Офицеры форта пытались по мере силы противодействовать этому, отрицая право Совета рабочих и крестьян закончить войну, они настаивали на необходимости охранять форт, но они были бессильны остановить всеобщий бунт. Так как все посты форта были покинуты, то офицеры вынуждены были взять охрану на себя. Тогда они были один за другим связаны толпой пьяных солдат и заперты в деревянной постройке, которую подожгли. Только два офицера бежали через окно, все остальные погибли в огне. Несчастные жены офицеров, которые прибежали к этой сцене из своих домов, падали на колени, умоляя толпу пощадить их мужей, но напрасно. Мясник был так потрясен их беспомощностью и их несчастьем, что предложил им взять их к себе домой, пока они не решат, что делать. Таковы были люди, которых он вез на своей телеге. Мы слушали, остолбенев от ужаса. Иван дрожал, прижимаясь ко мне. Я сказала мяснику, что могу приютить часть этих женщин и детей, но он твердо ответил: «Мне жаль об этом говорить, мадам, но ваш дом не безопасное убежище — вам лучше идти домой и самой успокоиться. Вы русская, кто вас защитит? И кто знает, что эти пьяные люди могут сделать с вами? Я финн, меня защитит мой народ, и я посмотрю, что смогу сделать для этих несчастных семей». Телега уехала, а мы, ужасно подавленные, вернулись домой.

Позднее днем я шла с детьми через лес к морскому берегу. Это было замечательное место с сосновым лесом, сбегавшим вниз к берегу, где были огромные камни, а море было холодным и мелким. У детей была лодка, и они наслаждались, плавая на ней между камней. Когда мы вернулись домой, наша служанка Дуня сказала, что два солдата приходили из форта осмотреть дом в поисках офицеров, которые спаслись предшествующей ночью. Они грубо говорили о беглецах и сказали Дуне предупредить меня, чтобы я не укрывала бежавших и не помогала им, иначе всю семью «повесят на деревьях вокруг дома». Однако никто не попросил нас о помощи. Вечером мадам Моурон сидела со мной в гостиной до поздней ночи. Штормило, и ветки деревьев и кустов, сгибаемые ветром, бились в окно, так что нам несколько раз казалось, что кто-то стучит. Мадам Моурон думала о том, что спрятать беглецов, если они придут, можно в сухом колодеце в нашей части леса, укрывавшей колодец ветвями. Она серьезно советовала мне устраниваться от этого, потому что она сказала: «Вы молоды, у Вас муж и дети, которые нуждаются в Вас, а я стара и у меня нет никого, кто может пострадать из-за моих действий». Однако никто не пришел и не потревожил нас. Лавруша дал мне знать, что не мог больше жить в нашей квартире и переехал в квартиру своего родственника Александра Чичерина. Он также сообщил, что внес свое имя в число людей, готовых сопровождать императора в ссылку в Сибирь, если император этого пожелает. Однако ему пришлось отказаться от этого, так как царь и его жена сами составили список людей, которых они хотели взять с собой. Некоторые из них согласились разделить жизнь императорской фамилии, и были потом убиты вместе с ней, другие уклонились под разными предлогами или просто исчезли и среди таких были, к сожалению, такие персоны которых царь и царица считали ближайшими друзьями.

Однажды мадам Моурон, дети и я сидели на веранде, с которой было видно шоссе. Неожиданно мы заметили отряд маршировавших солдат. Они остановились у наших ворот, открыли их и пошли по дороге, ведущей к дому. Я поспешно сказала мадам Моурон: «Возьмите детей в лес и не возвращайтесь, пока я не позову вас, спешите». Они удалились через дом в лес. Я испытывала страх и не могла оставаться на веранде спокойной в ожидании солдат — я предпочла сойти вниз и

встретить их на дороге. Так как их предводитель никак не приветствовал меня, то я спросила: «Вы что-нибудь хотите?» Он сказал: «Мы пришли искать оружие, которое спрятано в доме». Они вошли в дом и весь перерыли его, даже разрывали матрасы на кроватях, но ничего не нашли. Предводитель спросил меня: «Где ваш муж?» Я сказала: «Он на юге России». Тогда они начали обсуждать расположение комнат и планировать, как их использовать: «Это будет столовая, а здесь мы будем спать». Слушая эти замечания, я спросила: «Что вы намереваетесь делать с нашим домом?» Ответ был такой: «Он больше не ваш. Он принадлежит правительству рабочих и крестьян. Вы и ваша семья должны освободить его в течение двух дней. Вы ничего не должны брать с собой, кроме одежды. Все остальное должно остаться как сейчас». Я сказала: «Но куда же мы пойдем?» Он ответил: «Поезжайте на юг к своему мужу».

Через два дня мы покинули дом, сели на поезд до Петрограда и пришли в квартиру Александра Чичерина. Потом дети, мадам Моурон, няня и горничные отправились на квартиру Н.Д. Крупенского, в то время как мы с Лаврушей остались в квартире Чичерина.

Вечером того же дня в этой квартире было совещание. Я не помню ни его цели, ни кто там участвовал. Главным образом, это были пожилые люди в гражданской одежде, хотя было легко угадать в них военных. Лавруша попросил меня выйти, так что я сидела у открытого окна в столовой, наблюдая уличную толпу. Линия солдат выстроилась вдоль улицы в направлении Думы. Они, казалось, чего-то ждали. Некоторые из них сидели на ступеньках домов, обмениваясь замечаниями с женскими-служанками. В ответ на один из вопросов, касающихся «правительства Керенского», я услышала, как солдат со смехом ответил, что «очень скоро Керенский и его приспешники будут висеть на фонарных столбах». Тут я заметила мужчину в одежде рабочего, остановившегося около моего окна и делавшего мне знаки, из которых я поняла, что он хочет, чтобы я вышла к нему через черный ход. Я прошла туда, открыла дверь, и он поспешно сказал: «Передайте участникам совещания, что надо немедленно уходить. Их предали. Путь будет перекрыт. Их арестуют, если они не поспешат». Рабочий исчез. Я постучала в дверь комнаты, где было совещание, и передала сообщение своему мужу. Через несколько минут все участники совещания покинули квартиру через черный ход. Лавруша дал мне немного денег, чтобы я спрятала их в обувь, и мы тоже покинули квартиру. Снаружи город выглядел нереальным и угрожающим: отряды солдат патрулировали улицы, банды солдат и матросов обыскивали дома, слышались выстрелы, и время от времени можно было видеть человека, бегущего как загнанное животное, преследуемого дикой толпой. Мы посидели на скамейке, потом опять ходили по улицам и, наконец, в середине ночи решили пойти в нашу собственную квартиру на Кирочной и попросить швейцара Ивана приютить нас на время. Мы разбудили его. Он испугался, когда узнал нас, но позволил нам войти в кабинет мужа и приготовил чай. Мы не включали электричество и сидели при свечах с задернутыми занавесками и были рады дать отдых ногам. Через небольшое время, однако, Иван пришел опять и со знаками большого волнения посоветовал нам уйти. Он сказал: «Квартиру частично обыскали, но они могут придти опять. Если я скажу, что вы здесь, они вас арестуют. Если я скажу, что вас здесь нет, а они обнаружат вас, то они убьют всех нас. Я ничем не могу вам помочь». Он был прав, и мы опять вышли на улицу. В мутном свете раннего утра лица в уличной толпе выглядели особенно зловеще. Я пошла к детям, тогда как Лавруша отправился готовить бегство за границу. Один из его лицейских друзей все еще работал в Министерстве иностранных дел. Он снабдил Лаврушу паспортом, в котором утверждалось, что он консул в Лондоне, возвращающийся к месту службы. Лавруша оставил ему большую сумму денег, которые он обещал переслать нам позднее. Мы

решили взять с собой мадам Муорон, потому что ей в России некуда было деваться, тогда как няня имела замужнюю дочь в Москве. Мы заплатили жалование няне, Дуне и Наташе и, покинув рано утром квартиру Крупенского, сели на поезд в Финляндию и дальше в Стокгольм и Осло, где мы две недели ждали, когда английский миноносец отвезет нас в Англию. Только по прибытии в Осло Лавруша сказал мне, что он член «Военной лиги», которая ставила себе целью восстановление законной власти в России военным путем под руководством нескольких выдающихся генералов — Корнилова, Маркова, Каледина и других.

Пока мы были в Осло, у меня случилось приключение, связанное со шляпой, которую я увидела в витрине магазина. Она показалась мне такой привлекательной, что я попросила Лаврушу купить ее, хотя мы после отъезда из России решили быть особенно экономны по отношению к деньгам и преодолеть все соблазны. Однако Лавруша позволил приобрести шляпу, так что я пошла в магазин, купила шляпу, надела ее и, оставив мою старую шляпу, вернулась в отель. Только там я вспомнила, что большая сумма денег была зашита в подкладку моей старой шляпы. К нашему общему облегчению шляпа все еще была в магазине.

**М.Ф. Якушкина.**

**1917 год**

Весна 1917 года была для меня очень грустной весной. С самого начала революции, т.е. с февраля, я лежала. Только в конце апреля мне сделали операцию аппендицита, и на семейном совете было решено, что Юра меня отвезет в Хотетово. Семейный совет состоял из Вари, Вани и Юры. Я не имела голоса. Я лежала, молчала и думала. Я вспоминала. Как мы радостно встретили февральскую революцию. Я из Петровского-Разумовского помчалась пешком в Москву к Варечке, которая жила у своей невестки Ольги Сергеевны Родионовой, урожденной Муромцевой, на Zubовском бульваре. Варя служила в санитарном поезде и приехала в отпуск в Москву. Мне казалось, что у меня выросли крылья. От Петровского до Zubовской площади было добрых 8 километров, а мне надо было в тот же день идти обратно, так как Ваня не знал, что я ушла. Он с утра пошел в лабораторию. Он ушел сияющий, но когда я его попросила не уходить или, вернее, идти со мной в Москву, он сказал, что никто не получал от Иверонова (директора) отпуска и что его обязанность быть в лаборатории.

Как было хорошо идти по Москве. Вместе со мной шло много студентов. Ведь не только трамвай, но и наш паровичок не ходил. Навстречу нам проскакал взвод казаков, у них у каждого был красный бант. Они смеялись и помахали нам саблями тоже с красными бантами. Мы им тоже помахали руками и фуражками. Вот и Бутырки. Я ненавидела Бутырскую тюрьму и всегда проезжала мимо нее с тяжелым чувством — здесь сидел Ваня (арестованный на короткое время за статью о передаче земли крестьянам). Сейчас огромные ворота были открыты студентами. Мы вошли. Мы все вошли во двор. Более предприимчивые прошли в самую тюрьму. Раскрылись окна. Из окон во двор полетели цепи с криками: «Да здравствует свобода, равенство, братство. Ура!» — «Ура», — ответили мы радостно. Я стояла во дворе и думала: «Никогда, никогда уже не захлопнутся эти ворота. Мы их раскрывали навек». Вот Садовая. Сколько народу! И откуда столько красных гвоздик? Я тоже купила красных гвоздик.

После моего путешествия к Варе я заболела, у меня был приступ аппендицита и, кроме того, была еще беременность.

Теперь они на семейном совете решали мою судьбу. Юра меня везет в Хотетово и оставит там. Сам Юра служит в кавалерийском полку, стоящем в Орле, и сможет каждое воскресенье меня навещать.

С тех пор как Юра меня довольно благополучно довел, я жила в Хотегове. Юра приезжал каждое воскресенье. А я была одна в нашем большом доме, в парке, всюду, всюду. Наш управляющий жил в старом доме, там же спали птичница Соломанида и Маша, ухаживающая за мной, она боялась и спала вместе с Соломанидой. Я спала одна в новом доме в мамочкиной комнате. В ногах у меня спала Джесси, мой фокстерьер, а под окном две большие дворняжки Барбос и Шарик. И чего мне было бояться? У нас в деревне никогда не случалось не только грабежа, но и воровства. Правда, в середине лета Юра оставил мне револьвер, т.к. много народу приходило с фронта, и было беспокойно, но я не умела стрелять. А потом все, что совершалось, было далеко там, в далеком мире. А у нас была тишина.

Я, прежде всего, занималась хозяйством, садом, поденными девушками. Каждый месяц я, как всегда, выдавала «месячину» многочисленным старичкам и старушкам. Почему выдавалась «месячина», я не знаю, да и никто не знал. Думаю, что это осталось от крепостного права. Новыми были какие-то бумаги и постановления Временного правительства, которые я не знала, как и куда применить. Приезжал из Орла Юра и сердито рассказывал, что солдаты кавалеристы ничего не хотят делать. Перестали чистить лошадей. Да это что! Не дают им корму, не водят на водопой. «Я сам все делаю, видишь, ударил Вороной, он не хотел мне даваться чистить и ударил в голову, хорошо еще, что я отклонился». Юра засмеялся: «Правда, солдаты, видя, что один сено таскаю, стали помогать. — Я им говорю, — есть ли у вас совесть? Чем лошади виноваты?»

Однажды Маша прибежала ко мне испуганная — Алексей пришел. Алексей был ее муж, который сильно пил и избивал Машу. Маша убежала от него ко мне вместе с маленькой трехлетней дочерью. К нашему огорчению, Алексея выбрали комиссаром. Я сказала Маше, что бояться нечего и с полным сознанием своей правоты выслала к нему в переднюю Соломаниду, сказать, что я его не приму. Это конец лета. Хлеба уже помолотили и свезли, начали поспевать яблоки...

С 1905 года, когда папа получил наследство от бабушки и отдал почти всю землю крестьянам, наше хозяйство стало несложным. Пахотной земли с лугами осталось 250 гектар и 50 гектар сада. Я старалась сама многое сделать, но в последнее время я все передала в руки Трофима Никитовича, так как уже шел 7-й месяц беременности, и моя рана от операции начинала сильно болеть.

Как-то пришли старики звать меня на сход. «А где сход?» — спросила я. «Около церкви». «Так это 2 километра, как быть, я до церкви не дойду, а доктор запретил мне ездить?» Я вопросительно посмотрела на стариков. «Мы к тебе комиссара посылали, а ты не пожелала с ним говорить», — сказал Петр Семенович. Петр Семенович держался сурово. Это был белобрысый старик, бривший бороду. У него был лучший огород в деревне, и я была дружна с его умершей дочерью. Я рассердилась: «Я вашего комиссара знать не хочу. Нашли кого выбрать — пьяницу». — «Он зато на все руки мастер». — «Мастер только драться», — сказала я. Петр Семенович усмехнулся: «Ну, хорошо. Я вижу тебе и впрямь не дойти до церкви. Я скажу старичкам — сход сам к тебе придет».

Я попросила поставить для схода на балконе скамейки и стулья, но почти весь сход уселся на широкой балконной лестнице, где сидела я. Сход был большой и бурный. Была вся деревня, кроме баб. Алексей мне предъявил много требований. Здесь, на сходе, он держал себя хотя скромно, но более уверенно, изредка все же боязливо поглядывая на меня. Я с детства привыкла к сходу относиться с почтением. Кроме того, я была настроена очень революционно и твердо была наставлена Ваней в том, что земля принадлежит крестьянам. Почти все их требования мне казались законными, но приходилось возражать против своего убеждения. Решительнее всех держался Петр Семенович. Требования схода были следующие: всю землю, весь скот, лошадей и урожай я отдаю крестьянам. Мне крестьяне оставля-

ют дом, сад, луга, примыкающие к саду, 2 коровы и 2 лошади. Кроме того, мне оставляют зерно, солому и сена на один год. Мужики также сказали, что бабы требуют позволения стирать в большом пруду. На последнее требование я не согласилась сейчас же. Я сказала, что сначала папой были отданы им два пруда около самой деревни. В них не только стирали, но мыли овец, брали воду для полива, причем въезжали с лошадьми и бочками в пруд, и пруды высыхали настолько, что вода была только ранней весной. Потом папа отдал им средний пруд. Этот пруд, как и большой, наполнялся ключами, и из него постоянно вытекал большой ручей. Теперь и средний пруд никуда не годится. Вы сами говорите, что не только купаться, но стирать там нельзя, а ведь еще в том году маленькие ребята там купались. Единственный пруд остался, где купается вся деревня — это большой. Вот послушайте... С большого пруда раздавались веселые крики ребят и девочек. Девушки купались с этой стороны, где были мостики, а ребята с той стороны. Пруд был настолько велик, что его переплывали редко. «Так вот, — продолжала я, — я своего согласия не даю. Думаю, что и Петр Семенович, если подумает, со мной согласится. Относительно вашего первого и главного требования о земле — дело не так просто. Я думаю, что вы правы, требуя от меня отдачи вам всей земли. Но вот — я Вам хотела показать — бумага от Правительства. В ней категорически сказано, чтобы я ничего не отдавала до правительственного распоряжения. Там сказано, что я ни пудом зерна не могу располагать, и молочный скот находится на учете. Я удивляюсь, что Алексей мне предъявляет от вашего имени такие требования, между тем, он сам принес мне эту бумагу и хорошо знает ее содержание». Петр Семенович посмотрел озадаченно на Алексея. Алексей смущенно передвинул фуражку и молчал. «Я сама не знаю, как быть, — продолжала я. — Если мне нельзя продавать хлеб, то как же я расплачусь с поденными. Мне сейчас до нарезки нужны 50 рублей, а у меня их нет». «А как с лошадьми, Мария Федоровна?» — спросил Михаил, пожилой мужик с хитрым лицом, почему-то прозванный Куропаткиным. «Какие лошади?» — «Ваши лошади. О них ничего в бумаге не сказано. Вы их продайте, и деньги будут». — «В бумаге не сказано, — нерешительно возразила я. — Но как же я без лошадей работать буду?» — «Вы рабочих не продавайте, а молодых. Продайте мне Нону. Зачем Вам трехлетка? А я сейчас вам за нее 50 рублей дам». Куропаткин быстро полез в карман. Трофим Никитович, присутствовавший на сходе, недовольно крякнул. Трофима Никитовича я помнила столько, сколько помнила себя. Он был еще управляющим у бабушки и, как говорили, ухаживал за няней. Да за кем он не ухаживал? Все в деревне знали, что Трофим Никитович очень любил женщин и больше всего на поле бывал там, где были бабы. Это был очень красивый старик с правильными чертами лица и густыми курчавыми волосами. Я знала, что Трофим Никитович не был настроен так революционно, как я. Кроме того, я знала, что сильная, красивая Нона стоит гораздо больше 50 рублей, а потом законно ли продавать лошадь? С одной стороны, как на это посмотрит Правительство. Думаю, плохо. С другой стороны, Нона принадлежит крестьянам вообще и должна быть распределена, а не продаваться. Я это и высказала. Но Куропаткин мне возразил, что принадлежит она крестьянам или нет, это еще бабуш-



М.Ф. Якушкина

ка. Я сказала, что сначала папой были отданы им два пруда около самой деревни. В них не только стирали, но мыли овец, брали воду для полива, причем въезжали с лошадьми и бочками в пруд, и пруды высыхали настолько, что вода была только ранней весной. Потом папа отдал им средний пруд. Этот пруд, как и большой, наполнялся ключами, и из него постоянно вытекал большой ручей. Теперь и средний пруд никуда не годится. Вы сами говорите, что не только купаться, но стирать там нельзя, а ведь еще в том году маленькие ребята там купались. Единственный пруд остался, где купается вся деревня — это большой. Вот послушайте... С большого пруда раздавались веселые крики ребят и девочек. Девушки купались с этой стороны, где были мостики, а ребята с той стороны. Пруд был настолько велик, что его переплывали редко. «Так вот, — продолжала я, — я своего согласия не даю. Думаю, что и Петр Семенович, если подумает, со мной согласится. Относительно вашего первого и главного требования о земле — дело не так просто. Я думаю, что вы правы, требуя от меня отдачи вам всей земли. Но вот — я Вам хотела показать — бумага от Правительства. В ней категорически сказано, чтобы я ничего не отдавала до правительственного распоряжения. Там сказано, что я ни пудом зерна не могу располагать, и молочный скот находится на учете. Я удивляюсь, что Алексей мне предъявляет от вашего имени такие требования, между тем, он сам принес мне эту бумагу и хорошо знает ее содержание». Петр Семенович посмотрел озадаченно на Алексея. Алексей смущенно передвинул фуражку и молчал. «Я сама не знаю, как быть, — продолжала я. — Если мне нельзя продавать хлеб, то как же я расплачусь с поденными. Мне сейчас до нарезки нужны 50 рублей, а у меня их нет». «А как с лошадьми, Мария Федоровна?» — спросил Михаил, пожилой мужик с хитрым лицом, почему-то прозванный Куропаткиным. «Какие лошади?» — «Ваши лошади. О них ничего в бумаге не сказано. Вы их продайте, и деньги будут». — «В бумаге не сказано, — нерешительно возразила я. — Но как же я без лошадей работать буду?» — «Вы рабочих не продавайте, а молодых. Продайте мне Нону. Зачем Вам трехлетка? А я сейчас вам за нее 50 рублей дам». Куропаткин быстро полез в карман. Трофим Никитович, присутствовавший на сходе, недовольно крякнул. Трофима Никитовича я помнила столько, сколько помнила себя. Он был еще управляющим у бабушки и, как говорили, ухаживал за няней. Да за кем он не ухаживал? Все в деревне знали, что Трофим Никитович очень любил женщин и больше всего на поле бывал там, где были бабы. Это был очень красивый старик с правильными чертами лица и густыми курчавыми волосами. Я знала, что Трофим Никитович не был настроен так революционно, как я. Кроме того, я знала, что сильная, красивая Нона стоит гораздо больше 50 рублей, а потом законно ли продавать лошадь? С одной стороны, как на это посмотрит Правительство. Думаю, плохо. С другой стороны, Нона принадлежит крестьянам вообще и должна быть распределена, а не продаваться. Я это и высказала. Но Куропаткин мне возразил, что принадлежит она крестьянам или нет, это еще бабуш-

ка надвое сказала, ведь вот в бумаге запрещаю предавать скот, почему? Куропаткин оглянулся на сход, крестьяне молчали, я не знала, что ответить.

«Давай, продавай лошадь, — решительно сказал Куропаткин. — Трофим Никитович, принимай деньги». Михаил быстро пнул деньги, отсчитал и передал Трофиму Никитовичу, который принял их очень неохотно...

Почти весь сход разошелся. Я сидела, задумавшись, на приступочке и смотрела на заходящее за аллеей солнце. С пруда все еще неслись голоса. В воздухе царил и громко кричал копчик, в кустах сирени ворковали горлинки...

Петр Семенович, еще продолжавший сидеть на ступеньках, посмотрел на меня: «Посмотрю я на тебя, Матичка, — сказал он совсем другим голосом, чем говорил на сходе, и употребляя мое детское, уменьшительное имя. — Недавно ты тут девочкой босая бегала, вместе с моей Дуней, а сейчас скоро свой ребеночек будет. Скоро уж?» — «Скоро, — сказала я улыбаясь. — Через месяц или полтора?» — «Ну, дай тебе Бог... — Петр Семенович замолчал и, видимо, тоже задумался. — Муж-то у тебя хороший. Говорят, богатый. Имение от бабушки Аграфены Алексеевны все ему достанется». Я засмеялась: «Какое имение? Теперь не будет имений. Теперь все поровну разделят». Я говорила убежденно и весело. Петр Семенович посмотрел на меня и покачал головой. Что он хотел этим сказать? Что он мне не верит или что я глупая еще девочка, несмотря на ребенка, и ничего не понимаю?

#### IV. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ. 1918–1921 гг.

Татариновы тяжело переживали крушение своих либеральных надежд после большевистской революции в октябре 1917 года. Когда в начале 1918 года зародилось Белое движение, Федор Васильевич Татаринов уехал с женой на юг, а его сын Юрий вступил в Белую армию. После разгрома Деникина они эмигрировали. Варвара Федоровна Татаринова после окончания войны в конце 1918 года оказалась в одиночестве в Москве. Зимой 1918–1919 годов она продолжала вести стихотворный дневник. Весной 1919 года Варвара Федоровна уехала в Воронеж, к сестре, откуда в поисках родителей перебралась на юг.

Младшая дочь Татариновых, Мария, в эти годы жила в Воронеже. Ее муж И.В. Якушкин работал профессором Воронежского сельскохозяйственного института (СХИ). Осенью 1917 года в Хотегове родилась маленькая Наташа, после чего Мария Федоровна с дочкой уехала к мужу. В Воронеже семья Якушкиных прожила до конца лета 1919 года, когда город был занят частями Деникина. В это время родители и брат Марии Федоровны были у белых на Кавказе или в Крыму. Туда же пробиралась и Варвара Федоровна, приехавшая в Воронеж из Москвы в мае 1919 года и прожившая с сестрой около месяца. Когда красные снова начали наступать на Воронеж, Иван Вячеславович и Мария Федоровна решили уйти с белыми. Погрузив вещи на арбу, запряженную волами, которыми управляла Мария Федоровна, они двинулись по направлению к Курску. В Курске находилась в это время мать И.В. Якушкина, Ольга Николаевна, и его сестра Ольга Вячеславовна, приехавшая к матери из Саратова. В Курске Иван Вячеславович и Мария Федоровна расстались. Иван Вячеславович не хотел оставить мать, а Мария Федоровна искала своих родителей. Она предполагала, что родители в Крыму, но попала на Кавказ, где шло быстрое наступление красных, и найти родителей она не смогла. Ивану Вячеславовичу удалось отправить мать и сестру в Петроград, после чего он занялся поисками жены и дочери в Крыму, куда сначала собиралась ехать Мария Федоровна. На полуострове, где располагались белые, Иван Вячеславович встретился с другом семьи Якушкиных — В.И. Вернадским и стал пре-



подавать в Симферопольском университете. При бегстве белых Иван Вячеславович собирался эмигрировать вместе с ними. По воспоминаниям Вернадского, они с Якушкиным сидели в коляске, чтобы ехать в Севастополь, но в последний момент они решили остаться. После прихода красных семье Якушкиных удалось воссоединиться. Этому помог писатель и коммунист Д.И. Фурманов.

**Барвара Татарина.**  
**(Из стихотворений 1918–1919 гг.)**

*Стихотворение в прозе*

Была семья... цельная и сплоченная, теплая и нежная, связанная живой любовью.

Как солнце в майский день согревала она душу, как раннее утро вливала бодрость в усталое сердце.

Был старый, заросший дикий сад... Развесистые, мохнатые липы тянулись длинными аллеями, прикрывая своими тенистыми лапами перистые листья папоротника. Старые яблони каждую весну убирались пышным розовым цветом, и синели кусты сирени над полузаросшим прудом. Пахучие кусты жасмина прижимались к воздушным, нежным лиственницам, и дикие розы покачивали своими кудрявыми головками в сторону гордых пестрых георгинов. На берегу и плотине росли серебристые ивы, и молодые березы купали в воде свои гибкие ветви.

Была старинная часовня с белыми колоннами... Тихо и мирно было вокруг, голуби летали, кружась над покосившимся крестом. Каменные ступени заросли дикими травами, полевыми цветами. Маленькие корявые березки выросли на крыше, и кусты бузины полускрыли двери...

.....

Было ли? Или мне приснилось, почудилось в светлую майскую ночь...

**ГДЕ ЖЕ МОЯ МОЛОДОСТЬ?**

Где же моя молодость? Мои речи смелые,  
Мои песни звонкие, красота моя?  
Словно поздней осенью листья облетелые,  
Потемнела, съезжилась и поблекла я.  
Были очи яркие, были брови черные,  
Верные хранители смутных моих грез.  
И на лоб спадали мне кольца непокорные  
Буйно-непослушливых, вьющихся волос.  
Старость ли походкою крадется неслышною?  
Что-то уж не грезится больше о любви.  
Где же моя молодость? Где цветами пышными  
Ярко расцветавшие песенки мои?

*17 ноября 1918 года.*

**СНЕГ**

Падает, валится хлопьями пышными  
Первый сверкающий снег.  
Время уходит стопами неслышными,  
Не укротить его бег.

Много ли, много ли времени, кажется,  
С яркого лета прошло?  
Думаю я: пронесется, уляжется  
Горе, что в душу вошло.  
Сердце, словами любви не согретое,  
К лету стремится назад.  
Что мне земля эта, снегом одетая,  
Что этот зимний парад!  
Летом гуляла лесами тенистыми,  
Слышала речи любви.  
Снег не засыплет ли хлопьями чистыми  
Те сожаленья мои?

*15/2 ноября.*

## **БЕДНОСТЬ**

Если в твоей комнате очень, очень холодно,  
То смеяться весело как-то нету сил.  
Если сердцу бедному тяжело и голодно,  
То весь мир сверкающий кажется уныл.  
Если вечно мечешься, чтоб не быть голодною,  
То уже не хочется песенки запеть.  
В эту стужу зимнюю хочется холодные  
Руки свои бедные у тепла согреть.

*26/13 ноября.*

## **ВПЕРЕД**

Пускай мой зов остался без ответа,  
Пускай сейчас болит моя душа —  
Все промелькнет, и вот дождусь я лета,  
Земля, роскошной зеленью одета,  
Покажется мне также хороша.  
Мне лучше так. Стою я на пороге  
И жизни близко катится волна,  
Пусть дни мои сейчас бледны и строги  
Но я иду по правильной дороге  
И скоро будет жизнь моя полна.  
Иду еще несмелыми шагами  
Еще неопытна дрожит моя рука...  
Что впереди за теми ступенями,  
Что вдаль уходят строгими рядами?  
И цель моя близка иль далека?  
Грядущее задернуто туманом.  
Что будет там, того не знаешь ты.  
Но верю я, что поздно или рано  
Закроется в душе зияющая рана  
И будут для меня и счастье и цветы.

*5 декабря / 22 ноября.*

## РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБЫВАТЕЛЯ НА СМОЛЕНСКОМ РЫНКЕ

Цинготные десны, на легких — испанка!  
Понятно, вся пища — морковь и таранка.  
Трамваи стоят, тротуары — сугробы,  
Разуты, раздеты, все полны мы злобы.  
Не топятся печи, квартира сырая,  
Все прелести здесь большевистского рая.  
На рынке и в лавках уныло и пусто.  
О, летние дни! О, цветная капуста!  
Тогда за бесценок встречалась конина.  
А мясо — ей Богу! — по девять с половиной!  
Теперь же вся пища — морковь и таранка.  
И десны в цинге и на легких — испанка.  
*22/9 декабря.*

\* \* \*

Еще недавно я рыдала страстно,  
О том, что жизнь моя переменялась.  
Теперь уж все исчезло и забылось.  
Я поняла, что это не ужасно,  
И ничего дурного не случилось.  
Уже я к прошлому не обращаю взоры,  
Уже вернуть его ни мало не хочу я,  
И сердце, волю прежнюю почуя,  
Забилось так взволновано и скоро.  
Душа стремится в жизнь, играя и ликуя.  
*30/17 декабря.*

## НА ПЕРЕПУТЬЕ

Грусть с себя хочу стряхнуть я,  
Бодро встать на ноги.  
Я стою на перепутье  
Посреди дороги.  
Нет уже назад дорожки  
Предо мною — поле,  
Лес и речка... Понемножку  
Привыкаю к воле.  
Воздух полон аромата,  
Широка дорога.  
Нет уж к прошлому возврата.  
Пропадай, тревога.  
Прочь уйди, тоска седая,  
Я теперь на воле.  
Вкруг равнина снеговая  
Сосны снег и поле.  
*30/17 декабря.*

Тоска большее мне давит грудь,  
Скучно до боли мне, до страданья.  
О, если б только скорей заснуть  
Сном непробудным и без желанья.  
Так пусто, тихо, темно вокруг,  
Пока не увижу часа рассвета.  
Явись скорее, мой милый друг,  
С веселой лаской, со словом привета.  
Нужде пришлось мне в лицо взглянуть  
И мук голодных познать терзанье.  
Тоска большее мне давит грудь,  
Скучно до боли мне, до страданья..

*1 января 19 года.*

\* \* \*

За окном сады, как сказки,  
Мне же одиноко.  
Сердце жадно просит ласки,  
А мои далеко.  
Нету все желанной вести,  
Дни идут за днями.  
Час, когда мы будем вместе,  
Далеко в тумане.  
Жизнь подобна серой маске,  
Страшной, красноокой.  
За окном сады, как сказки,  
А мои далеко.  
Как посмотришь — горе чисто,  
Жить на свете стыдно  
Всюду только коммунисты,  
А людей не видно.

*2 января.*

## ДРУЗЬЯМ

Дайте отдохнуть мне, подождите малость.  
Перемена в жизни очень велика,  
Оттого такая страшная усталость,  
И лежат на сердце горечь и тоска.  
Начинать сначала — право не безделка,  
Да еще когда мне не с чего начать,  
И когда верчусь я в колесе как белка:  
Брошусь и тотчас же возвращаюсь вспять.  
Дайте мне немножко с силами собраться,  
В каше жизни выбрать колею свою  
И тогда, как прежде, буду я смеяться  
И еще звончее песни запою.

*4 января.*

Наташе было год и 9 месяцев, когда я с ней попала в Краснодар (Екатеринодар)... Это была случайность. Поезда в то время ходили часто не туда, куда должны были идти, а туда, куда можно было проехать. Такие передвижения часто случались в 1919 году. Я в Краснодаре не знала ни одного человека. Деньги у меня еще были, но как, где я устроюсь, даже где я буду ночевать, я не знала. Высадилась на вокзале, я пошла в институт табаководства, решив, что там, наверное, знают Ивана Вячеславовича. Я шла туда в полной уверенности, что мне не только помогут устроиться, но будут рады все сделать для Ивана Вячеславовича. Эта уверенность в людях не только не покидала меня никогда, но всегда оправдывалась. Я часто замечала, что люди повертываются той стороной, какой ты хочешь и в которую веришь.

В то время в Краснодаре официально были белые, но красные наступали, и многие уже уезжали из Краснодара. Город был охвачен волнением. Когда я пришла в институт, там проходило собрание. В зале были слышны громкие, взволнованные голоса. Я вошла в зал, неся на одной руке Наташу, а в другой тяжелый чемодан. Председатель, говоривший в эту минуту, замолчал и, с удивлением глядя на меня, спросил, что мне угодно? Я сказала, что я жена Ивана Вячеславовича Якушкина, что вместо Крыма случайно попала в Краснодар и что мне негде ночевать. Я спустила с рук Наташу, поставила чемодан. Моя полная уверенность, что они мне помогут, видимо, подействовала на председателя, и он, додумав, сказал, что пока я могу ночевать в лабораторных комнатах на диване, но днем я должна буду все убирать и уходить во время занятий, а как после смогу устроиться — они подумают. Я вышла, села на указанный мне диван и стала раздевать Наташу.

На другой день председатель, он же директор института, предложил мне работать в институте машинисткой. «А Наташа? — спросила я. — Ведь я буду занята до 8 часов, а где же будет Наташа?» Он сказал, что у сторожихи есть дети и, вероятно, она согласится посмотреть за ребенком. Мне казалось прямо невозможным отдать Наташу. Я сказала, что подумаю. Так прошло 3 дня. В городе становилось все спокойнее, и мне все страшнее ходить за продуктами на базар с Наташей на руках.

На третий день, когда все служащие разошлись, и я стала стелить постель Наташе на диване, раздался стук в дверь, и в комнату вошел человек с еврейским тонким лицом. Он смущенно остановился. Я попросила его войти и сесть. «Я здешний губернский агроном, моя фамилия Лейзеровский, кончил Тимирязевку и хорошо знаю Ивана Вячеславовича. — Он смущенно замолчал. — Я зашел спросить, как Вы решили. Вы остаетесь здесь служить?» Я ответила, что нет, что я не могу расстаться с Наташей и не знаю, как быть. «Вы что-нибудь придумали для меня?» — спросила я с надеждой. Он отвечал, что у него есть предложение, но он не знает, соглашусь ли я. У него есть знакомые, очень богатые, Николенко, и они ищут себе кухарку и, поступив к ним, я не расстанусь с Наташей. «Кухарку? Но я совсем не умею готовить!» Лейзеровский возразил, что хозяева сами хорошо готовят, но сейчас боятся ходить на базар, что мне нужно только помогать готовить, ходить все покупать и мыть кухню. «Кроме того, — прибавил он с улыбкой, — они боятся красных и хотят Вам отдать лишнюю большую комнату». Я с радостью согласилась. Было решено, что на другое утро он меня отведет. Утром я перешла жить к Николенко.

Семья Николенко состояла из отца, умного, трудолюбивого, пришедшего с Запорожья разутым мальчишкой и нажившего здесь состояние, построив постепенно 4 мукомольные мельницы. Потом были два его сына: один белый офицер, ушед-



Н.И. Якушкина

ший с белой армией, и другой, по-моему, и вовсе ничего не умеющий делать, кроме как тратить отцовские деньги. Впрочем, и офицер не многим от него отличался. Сын, не бывший офицером, имел жену и двух сыновей 10 и 11 лет. Его-то жена и была моей хозяйкой. С женой офицера я не имела дела. Кроме сыновей была еще дочь, но она держалась замкнуто.

Мне дали очень большую угловую комнату в 4 окна. 2 окна выходили в палисадник на улицу и 2 — на двор. Комната была хорошо обставлена, с огромной кроватью, двумя диванами и зеркальными шкапами, запертыми. Кухня у Николенко была построена отдельно в саду и соединялась с домом темным коридором. Мне было здесь очень удобно жить. Наташа целый день была в саду, и я из кухни могла и видеть, и говорить с ней. Хозяйка (Александра Ивановна) готовила прекрасно, мы с Наташей ели на кухне, и на свои деньги я покупала Наташе только молоко. Старик Николенко мне очень

нравился. Умный старик, видимо, презирал всю свою семью, которая ничего не делала, ничего не читала, любила только деньги и страстно ненавидела красных. Александра Ивановна проводила в кухне много времени, но говорила только о платьях, об аборте, о своем и знакомых, о Париже, о котором ничего меня интересующего не могла рассказать, и о том, что они надеются скоро уехать. Моя обязанность состояла в колке дров, в ношении с базара огромных корзин и в мытье посуды, кастрюль и кухни. Иногда, идя с базара, я встречала людей из института табака, они помогали мне нести корзинку. Чаще других я встречала Лейзеровского.

Я никогда не видела таких роскошных базаров, какие в это время были в Краснодаре. Чего только на них не было. Больше всего меня поражал хлеб. Огромный, круглый, белый и пухлый. Этот хлеб не черствел. Он всегда был мягкий и пушистый. Никогда после я такого хлеба не ела: ни в Воронеже, ни в Москве. В последующие голодные годы я частенько видела его во сне.

Семья у Николенко была большая, и я покупала много. Очень они любили хорошо поесть. Иногда, особенно если на обед была индюшка, я на базар уходила очень рано, чтобы успеть сходить второй раз. Иногда к моим хозяевам приходили гости. Тогда моя хозяйка была на высоте, уставала страшно, на помощь призывались невестка и золовка. Как они все ели!

На базар я ходить любила — я любила народ, любила пестрые краски базара. Меня только всегда пугали высокие, широкоплечие, дородные казачки, не произносившие ни одного слова без ругательств. Они ругались злобно, сердито, весело, шутя, даже с лаской. Если прочесть Толстого «Казачки», то там он приводит разговор тетки Ульяны. Вот такой разговор я слушала на базаре. Как-то около базара я встретила девушку, грустно сидевшую на скамейке. Я спросила, что с ней. Она сказала, что она студентка, что у них общежитие закрыли и ей негде ночевать. Я ее привела к себе, и она у меня прожила 3 месяца. Я ее кормила, и она ночевала у меня. После она куда-то уехала. Надо сказать, мои хозяева мне о моей поселенке ничего не сказали. У Николенко я так прожила осень и зиму. Одинока я была ужасно. Меня спасала Наташа да еще работа. За целый день я так уставала, что с трудом могла вечером постирать себе и Наташе.

Поздней осенью подошли красные, и началась обстрел города. Потом началась стрельба и в самом городе, стреляли на улицах, из домов. Мы, жители города, никуда не выходили, все ставни были заперты, но пулеметы и особенно пушечные выстрелы нельзя было ничем заглушить. От разрывов у дома дрожали стены. У моих хозяев были запасы, и мы не голодали. Только для Наташи я не могла доставать молоко и, кажется, страдала от этого больше, чем она. Она давно привыкла есть все, что дают. Наконец, город был занят красными, но еще стреляли, и я не решалась выходить. В один из этих дней раздался звонок, я открыла. Передо мной стояла женщина, закутанная в черный платок, с корзинкой в руках. «Я Катя Москаленко», — сказала она. Я поспешила ввести ее в свою комнату и протянула ей обе руки. Катя Москаленко была другом моего брата. Мой брат, которого революция застала офицером, ушел с белой армией на юг. Потом, видя ужасы белой армии, убежал от них и поступил агрономом на Краснодарскую животноводческую опытную станцию, где муж Кати Москаленко заведовал. Здесь Катя и Юра подружились. Не знаю, как относилась к брату Катя, но брат был сильно ею увлечен и мне писал с юга восторженные письма. Я никогда ее не видела, но заочно любила по письмам брата. «Я узнала от Лейзеровского, что Вы с Наташей в Краснодаре. Я подумала, что, верно, Вы голодаете в эти трудные дни. Вот я принесла кое-что и молоко для Наташи», — говорила она, снимая платок и торопливо развязывая корзинку. «Но как Вы могли дойти до меня с опытной станции? Всюду стреляют, и Вас могли убить!» — «Ничего, я не боюсь». Освобожденное от платка лицо молодой женщины, круглое и хорошее, улыбалось смущенной, но очень нежной улыбкой. Она вынимала из корзинки молоко, сливочное масло, сало и хлеб. Я крепко ее поцеловала. С этой минуты мы стали друзьями, и пока я жила в Краснодаре, она мне много, много помогала и, отказывая себе, в голодное время всегда приносила для Наташи молоко. Наташа тоже привязалась к Кате, и та ее сильно полюбила, да и кто мог не полюбить Наташу? Вся моя жизнь была в ней, да еще в вере, нет, в уверенности, что я ее доведу до Вани. Я была уверена, что Ваня жив.

Все эти дни мои хозяева сильно волновались, почти не выходили из задних комнат, и я носила им есть из кухни, где готовила уже сама и, думаю, очень плохо. На базаре совсем исчезли огромные белые хлеба, птица, яйца и овощи, молоко еще было, и моя корзина была полна, хотя и не такая тяжелая, как раньше. Через несколько дней ко мне в комнату вошла Александра Ивановна со множеством коробок и футляров. «Я хочу Вас попросить, — прошептала она, показывая на футляры. — Здесь все наши драгоценности. Я прошу Вас, можно ли их зашить в тюфяк Вашей кровати?» Я согласилась и вышла с Наташей в сад. Где и что они зашивали, я, конечно, не интересовалась.

Скоро наш дом был занят ЧК. Когда на звонок я открыла, вошло несколько человек красноармейцев, и один из них, видимо, начальник, сказал, что они ищут себе помещение. Я им сказала, что я кухарка и сейчас позову хозяйку. Наш дом им подошел, они заняли 4 больших комнаты, выходящих на улицу, и одну еще, смежную со мной. Им также понравился мощный чистый, большой двор, в конце которого стояли конюшни и сараи. Лошадей там и коров давно не было. Задних комнат, где сейчас жили хозяева, они не трогали. «А здесь что?» — спросил чекист, указывая на мою комнату. «Здесь живет наша кухарка». Чекист посмотрел на меня — тоненькую, худую, в черном платье с большой толстой косой, спускавшейся гораздо ниже пояса, толкнул дверь и вошел. В комнате была одна Наташа в белом вышитом платье, сшитым мной из моего белья, с белым бантом в волосах — она укладывала заграничную куклу, подаренную ей Верочкой Риттер. Чекист ничего не сказал. Я думаю, он догадался, кто мы с Наташей, но нас они не тронули, и я осталась жить в передних комнатах среди чекистов. В тот же день

они переехали к нам. Наш двор наполнили красноармейцами, пушками, пулеметами, тачанками, лошадьми и верблюдами. Наташа с большим интересом наблюдала за этим переселением. На другой день Наташа, белокурая, в белом платье, с белым большим бантом в волосах вышла во двор на крыльцо. Красноармейцы сидели и лежали во дворе. «Здравствуйте, господа офицеры», — крикнула она громко. Бог ее знает, кто ее этому выучил, думаю, что хозяйские мальчишки, с которыми она играла в саду. Солдаты громко расхохотались. «Подойди сюда, — сказал один строго. — Ты как назвала?» Наташа сошла с крыльца и, несколько не уstraшенная его нахмуренными бровями, влезла к нему на колени. «А ко мне пойдешь?» — с сомнением в голосе спросил уже пожилой солдат, протягивая ей руки. «Не ходи к нему, он сердитый!» — смеясь, закричали солдаты, но Наташа, улыбаясь, видя, что они шутят, охотно протянула ручки к пожилому солдату. Красноармеец быстро взял ее, прижал к себе и пошел с Наташей на руках, показывать ей верблюдов. «Чья это девочка?» — спросили они меня. «Моя» — отвечала я с гордостью. «А Вы кто будете?» — «Я тут у хозяев живу в кухарках». — «Кухарка?» — переспросил солдат, первый позвавший Наташу. «Что-то...» Он посмотрел на меня пристально и ничего не сказал. Я быстро подружилась с красноармейцами. Они звали меня хозяйкой или хозяйшкой, болтали со мной, кололи мне дрова, топили почку и охотно носили корзинку на базар. Каждое утро они меня спрашивали: «Хозяйшкa, можно мы возьмем с собой Наташу на Кубань купать лошадей?» Я охотно позволяла, но строго запрещала дарить ей деньги, так как они грязные, и давать ей подсолнухи, которые она еще не умела грызть и ела их с шелухой. Солдаты охотно возились с Наташей, хохотали над ее словами. У Наташи была любимая обезьянка, тоже подарок Верочки Риттер. Наташа всегда ее таскала на руках. Солдаты спрашивали: «Наташа, почему ты всегда целуешь обезьянку?» «Она очень хорошая, она, как две капли воды, похожа на папочку». Она им говорила маленькие стихи, которых она много знала и, картавя, не выговаривая «р», очень смешно декламировала.

К начальнику ЧК у меня было очень странное отношение. Он жил в комнате, дверь которой, как и моя, выходила в переднюю. Когда я ему на звонок открывала дверь, он всегда очень вежливо благодарил, здоровался и редко, редко скажет еще несколько слов. В его комнате, которая у Николенко была кабинетом и была обставлена столом и кабинетной мебелью, постоянно происходили заседания. Сначала его замкнутый, суровый вид мне imponировал, потом мое отношение к нему стало более сложным. Своих хозяев я почти перестала видеть. Иногда старик Николенко заходил ко мне, и мы с ним беседовали. Я перестала ходить для покупки хозяевам на базар, и готовили теперь себе они сами. Все комнаты, занимаемые ЧК, хозяйки убирали, мыли полы, вынесли из комнат все вещи, которые чекисты просили убрать. Меня чекисты не трогали, никогда ни о чем не просили и, приходя к начальнику, никогда со мной не заговаривали. Я ходила на базар для себя и Наташи. Покупала я мало, у меня мало было денег, так как Николенко перестали мне платить. Кое-что приносила Катя, и у красноармейцев всегда был хлеб и приварок, которыми они угощали меня и Наташу.

Скоро к чувству уважения и даже признания, которые я почувствовала к чекистам, у меня присоединились ужас, непонимание и даже возмущение. Казачки и другие люди, которых я встречала на базаре, соседи, редкие знакомые рассказывали мне о расправах красных, главным образом, чекистов с белыми, с восставшими станицами и с «зелеными». «Зелеными» у нас называлось почти все молодое казачество, ушедшее в горы и не подчинявшиеся ни красным, ни белым. О них я расскажу позднее, когда я с ними непосредственно встретилась. Рассказывали про чекистов страшные вещи. Правда, рассказывали то же и о белых, особенно молодые казачки, жены «зеленых». Но с белыми я непосредственно не име-



ла никакого дела, и к ним не лежала моя душа. Потом молодых казачек я избегала, они так были не похожи на наших крестьян, из которых в большинстве и была составлена красная армия. Но почему чекисты так жестоко, так ужасно поступали? С ужасом, с ненавистью произносилось имя Троцкого. Наконец, я решилась узнать правду. Раз, отворяя наружную дверь, я обратилась к начальнику и спросила, правду ли рассказывают, правда ли, что они расстреливают пленных? Он ответил: «Да, правда». — «Но ведь это ужасно! Как можно быть так невероятно жестоким? Я не понимаю...» Чекист посмотрел на меня, но не рассердился. «Когда-нибудь Вы это поймете», — сказал он, раздеваясь, повесил шинель и ушел, затворив за собой дверь. Я стояла пришибленная. Ему я не могла не верить. Он так сказал, как будто он прав. Нет, он не прав. В убийстве не может быть правды, и этого я никогда, никогда не пойму. Мне хотелось догнать его, объяснить всю эту бессмысленную жестокость. Но я не смела к нему войти. Он так уверенно это сказал, так сурово закрыл дверь. Но со мной, с Наташей он ласков, а Наташа всегда улыбается. Мне было тяжело его встречать. С красноармейцами мне было легко. Я себя уверяла, что они не виноваты, что это большевики заставляют их быть жестокими, а они только подчиняются дисциплине. В этом меня убеждало то, что они при мне никогда не ругались, никогда со мной не говорили грубо. Наташа, которой было уже почти 3 года, была все время с солдатами. Она смешно повторяла солдатские слова и выражения, но никогда не ругалась. Видимо, при ней они сами воздерживались от ругательств и были с ней постоянно ласковы. Я думала, что оторванные от семей, они перенесли на Наташу свои хорошие чувства. Так проходила зима. Я мало знала, что происходило в городе. Никто обывателей не трогал, не выселял из домов, кроме нескольких реквизированных квартир. На базаре опять появились приезжавшие на возах казачки. К ним иногда подъезжали верхом молодые казаки, видимо, «зеленые», брали бараньи туши и корзины с едой, шутили и ругались с казачками. Из города выезжали обыватели, но их не задерживали. Чекисты куда-то уезжали отрядами, но не все. Теперь я увидела и пленных, некоторые были так страшно молоды. Их допрашивали, уводили, иногда за сараями били, слышны были выстрелы, я брала Наташу на руки, прижимала к себе и плакала.

«Мамочка, — сказала Наташа, стоя около окна во двор. — Зачем они бьют быка?» Я посмотрела в окно. Бык, предназначенный на мясо солдатам, был пущен бежать по широкому двору. Солдаты, смеясь, били его по лбу топоричем. Бык мотал головой, иногда падал на колени и опять вскакивал, из носа его сочилась кровь. Я схватила Наташу на руки, посадила на постель и, велев ей сесть спокойно, бросилась в кабинет к начальнику, где в это время проходило какое-то совещание. Я распахнула дверь и вбежала. «Что Вам надо? Сюда нельзя», — крикнул мне начальник. Я взволнованно рассказала, что делают с быком и просила его поскорее застрелить. Командир спокойно возразил, что стрелять солдатам по пустякам запрещено и чтобы я ушла, так как здесь нельзя быть. «Это не пустяки, это жестокость!» — закричала я. Начальник пожал плечами. Я страшно рассердилась. «Вот! — выкрикнула я упрямо, усаживаясь на стул. — Я не уйду отсюда, пока Вы не скажете, чтобы быка застрелили. Ни за что не уйду». У меня из глаз капали слезы, но я ухватилась за стул обоими руками. Командир посмотрел на меня, встал и крикнул в дверь солдату: «Скажи там, чтобы быка отвели за сарай и застрелили». Я быстро вскочила, сквозь слезы сказала «спасибо» и убежала к себе в комнату.

В том году Пасха была ранняя. В светлое воскресенье ко мне вышел старик Николенко, принес мне кулич и крашенных яиц и сказал, что они уезжают, что вся семья пусть едет, куда хочет, а он поедет в станицу к мельницам. Как я много после узнала, его назначили заведовать теми прежними мельницами, и он добросо-

вестно и самоотверженно служил большевикам до самой смерти... Мне надо было тоже устраиваться. Денег уже почти не было, да и я все больше хотела уйти из дома чекистов, хотя в последнее время отряды чекистов выезжали чаще и чаще и среди приезжавших солдат были раненые. Они неохотно шли в госпиталь, и я их перевязывала дома. Где и как мне было устроиться? Я опять обратилась к Лейзеровскому, с которым я не часто, но встречалась. Он сказал, что сейчас, как раз весной, он может меня устроить на Семенную опытную станцию готовить обед рабочим. Опытная станция находилась на реке Кубани верстах в 25-30 от Краснодара. Большая часть земли и скотный двор были в двух верстах от усадьбы Опытной станции, где жили рабочие и где я получила маленькую комнату. Рядом с домиком, где я жила, находилась «дворовая» кухня, т.е. навес с плитой, куда были вмазаны два больших котла. В одном котле я должна была варить борщ, а в другом — пшеничную кашу. Для борща мы имели худых, не дающих молока калмыцких коров, а в кашу я поджаривала сало с луком. Надо было очистить и нарезать большое количество свеклы, капусты и лука: рабочих было много. Самое трудное было половником мешать калу, чтобы она не пригорела. Кроме варки обеда мне и еще двум женщинам, работавшим на Опытной станции, подавали рано утром и вечером арбу, запряженную верблюдом, и мы ездили на скотный двор доить калмыцких коров. Коров на мою долю приходилось шесть голов. Это не так бы было трудно, я доила хорошо, если бы не нрав калмыцких коров. Они были дики и злы, главное, не привыкли доиться, они привыкли сами выпаживать своих телят. Каждой корове пастух спутывал ноги передние и задние, подвязывал хвост и привязывал ей голову так высоко, что если бы она легла или согнула только ноги, то повисла бы на них. Потом я подпускала к корове теленка, и только она «отпускала» молоко, которое она задерживала, я отталкивала теленка и доила. Как только корова сознавала, что теленка нет, а я дою, она рычала, буквально рычала, рвалась и старалась на меня лечь. Видя, что это не удастся, корова «принимала» молоко, и тогда нужно было опять подпускать теленка. Так до трех раз. От такой дойки мы совсем измучивались. Мы вскакивали по несколько раз, хватали ведро, каждую минуту могли быть задавлены, когда корова пыталась лечь. Кроме того, теленка все время должен был держать пастух или его помощник, иначе он бежал к матери, опрокидывая и меня, и ведро. Скоро у меня нашлась еще одна обязанность. У нас было 8 маток и один жеребец верблюдов. Когда я готовила борщ, то все очистки я относила в загон к верблюдам, они скоро привыкли ко мне и шли на зов. Верблюды очень гордые и обидчивые животные и не выносят, когда с ними грубы или бьют их. Тогда они бьют или передней или задней ногой или плюются. Это жвачное животное, и они отхаркивают жвачку и плюют ее. Поэтому рабочие неохотно ходили в загон и обрабатывали их (т.е. надевали недоуздок), чтобы запрягать. Я входила к ним совершенно свободно, и они меня слушались. Помню, один рабочий вошел в загон и никак не мог поймать верблюда, тогда он хлопнул верблюда недоуздкой по ноге. Верблюд обернулся и лягнул рабочего так сильно, что тот перелетел через жерди загона. Больно верблюд не ударял, так как вместо копыт у него были мягкие подушки, но от сильного удара, падая на землю, можно было сильно ушибиться. Мне было трудно обрабатывать только верблюда жеребца. Он был велик, и чтобы его обработать, мне приходилось подпрыгивать и ловить его за холку. Иногда он, когда я его брала за холку, поднимал голову, и я висла на нем. Верблюдов-кобыл запрягали в пару в косилку, в арбы, а жеребца запрягали или когда нас приходилось возить на скотный двор, или в город. Породистый жеребец-верблюд вообще было большое и сильное животное, он весь оброс волосами, особенно шея, грива висела почти до земли. Часто, когда не очень хорошо накидывали на ворота цепь, жеребец, приподняв жердь, выходил и гулял по двору. Как-то к нам напиться заехали верховые «зеленые». Командир только что

поднес кружку ко рту, как показался жеребец-верблюд, огромный, лохматый и страшный, он гордо поднял голову и шел прямо на отряд. Этого лошади не могли вынести. В один миг весь отряд рассыпался, и лошади понесли. Обедавшие рабочие громко рассмеялись, они шутили, что так не скачут даже в атаку. Командир отряда бросил кружку уже далеко в поле. Один раз жеребец гулял по двору, когда Наташа, держа в руке пучок травы, побежала ему навстречу. Я очень испугалась. Жеребец осторожно занес над Наташей переднюю ногу, другую, потом задние и пошел спокойно дальше, оставив удивленную Наташу с клочком травы в протянутой руке. Но самое неприятное для меня приключение было, когда жеребец вышел из загона, когда я только что сварила борщ. Рабочих еще не было, я сварила борщ пораньше и занималась варкой каши. Верблюд подошел к котлу, откинул мордой крышку и стал пить борщ. «Геть! Геть!» — закричала я изо всех сил, колотя верблюда по морде половником. Потом я схватила жеребца за гриву и тянула в сторону, но ни то, ни другое не произвело на животное впечатления. Он отошел только тогда, когда выпил весь борщ и съел все овощи. Потом он послушно ушел. Я чуть не плакала с досады, ведь сейчас должны были прийти обедать с поля рабочие. За это лето мне приходилось испытывать, часто по моей неумелости, много всяких «несчастий».

Меня тяготило одиночество. Катю я видела очень редко. Когда надо было за чем-либо посылать в город, я отпрашивалась и ездила верхом, предварительно написав Кате, и мы с ней встречались. В редкие минуты свободы от дел я брала Наташу, и мы уходили с ней на Кубань, на могилу «Корнилова». Не знаю, правда ли это была его могила, но она представляла большую крест и камень. С этого камня открывался прекрасный вид на другую сторону реки и снеговые горы вдалеке. Я обнимала Наташу и говорила ей обо всех моих горестях и о том, как мне тяжело без Вани. Хотя она мало понимала мои слова, но мое чувство понимала и крепко меня обнимала. Что делалось в Краснодаре, мы узнавали мало. Мы узнали, что красные захватили черные земли к Волге потому, что мимо Станции проходили таборы калмыков, бежавших от красных. Семьи калмыков ехали на верблюдах и в крытых повозках, запряженных верблюдами или волами. Шли стада калмыцких диких коров и отары овец. Куда они шли и дошли ли куда-либо, мы не знали.

Осенью начались дожди и речные туманы. Наташа стала прихварывать, ее лихорадило, поднималась температура. Я написала Кате, прося ее поехать в город и повезти Наташу к хорошему врачу, знакомому Кати. Врач сказал, что у Наташи начало тропической малярии, что это от реки и посоветовал сейчас же уехать подальше от реки и тем прервать малярию. Я возразила, что мне некуда ехать, и сейчас это и невозможно. Тогда врач, подумав, сказал, что с другой стороны города Краснодара на довольно большой высоте находится станица, в двух верстах от города. Туда многие уезжают на лето, там очень здоровая степная местность, и он мне советует переехать туда. Выйдя от врача, мы отвели Наташу к знакомым нам служащим Института табаководства и пошли с Катей в станицу. Я говорила о том, где я найду работу и как мы будем жить, но Катя меня утешала тем, что все равно переезжать надо, а там как-нибудь проживем. Мы пришли в станицу искать комнату. Станица была богатая, каменные дома в 4-5 комнат, крытые железом, около домов палисадники, за домом сад, двор со служебными постройками, на дворе очень много птицы. Вероятно, здесь все сдавали на лето комнаты жителям Краснодара, живущим в нижней части города и переезжавшим сюда на дачу. Сдающихся комнат было много, но, когда мы робко спрашивали комнатку подешевле, они на нас смотрели с презрением и захлопывали перед нами двери. Наконец, мы подошли к дому около пустыря и большой дороги, ведущей в Краснодар. Это был крайний дом, довольно большой, с прилепившейся к нему маленькой лавочкой, теперь закрытой ставнями. Мы позвонили. Нам открыла пожилая, крупная ка-

зачка. Лице ее нам показалось очень грубым. На наш робкий вопрос она подумала и сказала: «Что ж, я могу вам сдать вот эту лавочку и недорого, все равно она теперь не нужна». «Так ведь в ней нет печки!» — вскрикнула Катя. «А вы будете открывать дверь в кухню, кухня у нас всегда топится». Она назвала цену, правда, недорогую. На Опытной станции я получала очень мало как рабочая, и денег у меня почти не было. «Только вы уплатите вперед за 3 месяца», — сказала казачка, с сомнением смотря на мое очень старое черное платье — мое единственное, вывезенное еще из Воронежа. Я и на это согласилась, хотя это составляло половину того, что я имела, и сказала, что я перееду послезавтра. Кровать и тюфяк мне дали знакомые по институту табаководства, стол у хозяйки нашелся, 2 табуретки тоже. Я попросила верблугу на Опытной станции и переехала. Я попала как будто во враждебный лагерь. Грубая, скупая хозяйка, ее дочь Галя, муж которой был, вероятно, «зеленый». Он приезжал и увозил с собой Галю иногда надолго, оставляя на бабушку дочку трех лет, тоже Галю. Была еще мать хозяйки, злая старуха, ворчавшая все время и не позволявшая мне открывать много дверь, когда кухня топилась. Я пробовала говорить об этом хозяйке, но она отвечала: «А что я поделаю со старухой, она у нас сроду полоумная». Первые два месяца, которые мы здесь прожили, я не могу вспомнить без ужаса. Я голодала. Я и так была очень худа, сказалась непосильная работа на Опытной станции, а, живя в станице, не имея никакого заработка и очень мало денег, я берегла то, что было для Наташи. Катя не могла мне помочь, она сама ела очень плохо. Белые реквизировали с их Животноводческой опытной станции почти весь скот. Муж Кати спас, спрятав в лесу, племенных животных, их почти нечем было кормить, но все же их спасли. В городе не хватало продовольствия, только в городе казачество жило хорошо, но почему-то у него пока ничего не отбирали. Животноводческая станция была на очень строгом пайке, а у Кати было много иждивенцев. Ее подруга, приехавшая к ней, заболела и умерла, оставив на Катю двух детей, потом брат Катиного мужа и его жена были убиты в одной из станиц. Муж Кати, ездивший в эту станицу, привез с собой еще троих детей, и Катя отказывала себе во всем. Наташе она приносила каждые два дня бутылку молока и сало, но этого хватало только на Наташу. Что я ела эти два месяца, не помню. Иногда я помогала носить в город корзины с овощами и за это получала овощи и кусочки хлеба. За эти два месяца я так ослабела, что ходила, держась за стену. И потом холод, ужасный, пронизывающий холод в комнате. Я ходила воровать сушняк в лес, многие из города тоже воровали. Если я приносила из леса, то старуха позволяла мне открывать дверь, и я не слыхала ее ворчливых замечаний, что на всех нищих она не натаскается дров. Но здесь я немного похваляю себя. Я гордилась тем, что Наташа никогда не знала нужды. Все, что я зарабатывала у казачек, все, что приносила Катя, все было для Наташи, да и как же иначе. Моя жизнь была сосредоточена на ней. И она не только не знала нужды, она росла такая же доверчивая, веселая, ласковая, также не знала и не понимала зла. Раз как-то мы пошли к казачке, жившей рядом, чтобы взять у нее корзинку с овощами, которую на следующий день я должна была нести на базар. Эта казачка продавала не только свои овощи. У нее было что-то вроде постоянного двора. Часто к ней приезжали из других станиц и на продажу оставляли свои запасы — сало, кур, яйца и т. д. Войдя в дом, мы услышали взволнованные голоса и увидели, что посреди хаты лежит женщина. Я спросила, что случилось. Казачка-хозяйка мне рассказала, что лежащая на полу женщина приехала из станицы погадать у гадалки, что с ее сыном, который уже 4 месяца ушел в Красную Армию, а от него нет известий. Гадалка нагадала на картах, что сын ее убит, и эта женщина теперь все плачет и не может подняться. Я рассердилась, и мне ее было страшно жалко. «Есть у Вас карты?» — спросила я. Карты были. Я подошла к женщине. «Что она Вам нагадала — это все неправда. Вот я Вам нагадаю — мне

верте. Я зарок дала больше никогда не гадать, а то ведь я гадалка, не вашей чета», — говорила я взволнованным голосом и властно. Я взяла карты и стала раскладывать. «Вот, видите, — я сказала, — что она врет. Где тут, что он умер? Видите, у него рядом десятка червей и девятка бубен — это означает, что жив». Я говорила так уверенно, что женщина подняла голову и слушала, а все бывшие в комнате меня обступили. «А Вы зачем верите? — продолжала я. — Смотрите, туз. Поезжайте домой, и Вам, если не сейчас, то на днях будет письмо, непременно будет». — «А как же здесь девятка и туз пик, ведь это слезы?» — спросила хозяйка. «Конечно, слезы», — ответила я. — И если вот она будет слушать еще каких-то гадалок, то будет еще слезы, только не его, а ее. Чего она плачет? Сын жив, здоров, а она плачет... Я вам говорю, — обернулась я к женщине, которая уже не лежала, а села около меня. — Я Вам говорю, я теперь не гадаю, но мне бог простит, потому что сердце мое не вытерпело. Я из-за Вас обет свой нарушила, а Вы не верите. Я говорю, письмо уже послано, ждите». Моя безудержная натура сказалась. Я думала, ее сломали все мои переживания. Через неделю ко мне прибежала казачка, хозяйка постоялого двора и сказала, чтобы я поскорее к ней шла. Я пошла. Как только я вошла, ко мне на шею бросилась та женщина. Она сказала, что я всю истину узнала, что письмо она получила, что сын ее жив и здоров и надеется скоро приехать. Я тоже обрадовалась. «Вот, — говорила женщина, суя мне в руки корзину, — вот тут яички, я уж не только свои, а у соседей заняла, и сало и масло, вот Вам, добрая моя, хорошая моя. Вы мне радость такую дали». Я начала откazyваться. Правда, я взяла яйца, не все те, которые она заняла, я отдала обратно, а ее 2 десятка взяла. Я очень была голодна, и Наташка так давно не имела яиц. «Что ты, что ты! Бери, я разве назад повезу? Мне грех будет». — «Я ведь не гадалка, я только раз погадала, я обет дала», — говорила я, но она была так огорчена, что я не все у нее взяла, хотя в душе себя осуждала. Я встала, чтобы идти домой, как меня остановил совсем незнакомый мне человек, сидевший тут же в комнате, одетый не так, как все казаки. «Послушайте, мадамочка или гражданочка, как теперь называют. Я приехал с ней из станицы. Удивительно Вы гадаете. Это у Вас дар, не зарывайте его в землю». Я слушала с удивлением, что он еще скажет. «Я имею предложение. Пойдемте к нам в станицу. Станица богатая. Вы будете там гадать, а я к Вам приводить казачек. Они на это падки. Ручаюсь, что нанесут Вам, что хотите. По рукам? Половину мне, а половину Вам. Ручаюсь, будете, как сыр в масле кататься...» Я сказала, что отказываюсь, так как он уже слышал, я дала обет не гадать. Мне не хотелось при этой женщине признаться, что я все врала и гадать не умею, я понимала, что она так верит мне, что не станет уже с такой надеждой ждать сына. «Ну, хотите одну треть мне? С меня хватит», — спросил он. Но я отказалась, опять сославшись на обет. Это очень подняло меня в глазах казачки-хозяйки. Так я радостно шла домой. Я была рада и за женщину, и за свое вранье и, главное, я поем, не обездолив Наташу.

Странные были эти казачки. С Наташей часто играли двое детей, они были так грязно и плохо одеты, хотя их мать жила хорошо. Раз она зовет меня и показывает мне очень хорошие шерстяные платья для ее мальчика и девочки. Я ее хвалю, я очень рада, что она им купила новые платья. Она мне говорит: «Вы что же думаете, что я им дам их надеть? Нет, это пусть лежат. Вот если они помрут, я их одену». — «Как помрут? Ведь они совсем здоровы?» — «Так что же, все может быть, вдруг помрут, а мне хоронить будет не в чем». И она старательно сложила платья и заперла в сундук. Наши крестьянки были тоже бережливы. Новые платья носили всегда «на рост» и надевали только по праздникам, но до такого цинизма они не доходили, да и не могли дойти по своему характеру...

Через два месяца появилась Вера Николаевна. Кто она была, как сюда попала, я не знала. Моя хозяйка и ее дочь знали ее. Она поселилась в лучшей комнате,

знала много народу в городе и хорошо шила. Мне сказали, что она портниха. Из ее последующих рассказов и разговоров, мне казалось, что она беженка из Петербурга, происходит из богатой купеческой семьи и как-то была связана с белыми. Меня все это мало интересовало. Гораздо лучше, что она мне дала работу. Вера Николаевна мне предложила распарывать старые платья, которые она перешивала, и относить по заказчицам уже готовые платья. Заказчиц у нее было очень много, и она по целым дням уходила в город. За это она мне платила и, главное, платила едой. К Наташе она относилась прекрасно и часто ей из города приносила что-либо вкусное. Ходить было не так далеко, как страшно, особенно, если запоздаешь. В Краснодаре, у самого нашего пустыря, стоял кабак. Из него всегда неслись крики, ругательства, слышны были даже драки. У конюязи перед кабаком всегда было привязано много лошадей. По лошадям можно было узнать, кто находится в кабаке. Лошади красноармейцев были больше полукровки, худые, заморенные. Они стояли, грустно понунив голову. Лошади «зеленых» были очень хороши. В царское время недалеко от Краснодара были заводы английских скакунов. Они все перешли к «зеленым», и лошади «зеленых» были с этих заводов. Каждую ночь, даже еще вечер, так как стояли дни поздней осени, у нас на пустыре кого-нибудь убивали или грабили. Каждую ночь раздавались крики о помощи и топот верховых лошадей. Мы ничем не могли помочь. Мы рано закрывали ставни и отгораживались от всего мира. У меня в лавке горел по вечерам маленький пузырек с керосином со скрученным ватным фитильком. Но теперь по вечерам мы с Наташей уходили в комнату Веры Николаевны. Там горела настоящая большая лампа. Я похорола, Вера Николаевна шила, а Наташа играла рядом. Большую часть заказов я носила утром, но иногда приходилось дожидаться заказчиц, которых почему-либо не было дома, тогда я возвращалась, когда уже начинало темнеть. Однажды я запоздала в Краснодаре. Надо было заносить платья в несколько мест, находящихся далеко друг от друга. Стало уже темнеть, когда я подошла к пустырю. Я очень спешила, мне оставалось еще пройти два километра. Я была уже почти на середине пути, когда мимо меня проскакал всадник. Хотя я была испугана, я обратила внимание на его прекрасного английского скакуна. Всадник проскакал, стук копыт лошади стал глуше, когда внезапно прекратился. Я шла дальше и увидела, что всадник стоит и дожидается меня. «Ты куда идешь?» — «Домой». Всадник подождал, пока я поравняюсь с ним. «Я ведь тебя зарезу» — прошептал он, наклоняясь ко мне с седла и обдавая меня винным перегаром. «Что ты! — вскрикнула я. — За что?» Одной рукой он схватил меня за горло, в другой блеснул нож. Я рванулась так сильно, что он покачнулся в седле и изо всех сил ударила лошадь по храпу. Я знала, что скакун этого не выдержит и действительно, лошадь рванулась и понесла. Пока он справился в седле и смог удержать скакуна, я побежала. Странно, я думала не о том, что он меня убьет, а о том, что будет с Наташей. С боковой дороги показалась арба, запряженная парой. Я бросилась к арбе: «Возьмите меня на арбу, он хочет меня убить, остановитесь!» — «Что ты? Иди, иди, а то он нас обоих убьет». Человек хлестнул по лошадям, но я не отставала. Я бежала так, как даже не знала, что могла бегать. Я не отставала от арбы и продолжала умолять. Всадник к этому времени справился с лошадью и стоял в отдалении, выжидая. Видимо, мои мольбы тронули возницу, он приостановил лошадей, и я вспрыгнула в арбу. Он сейчас же хлестнул по лошадям и пустил их вскачь. Мы благополучно доехали. Я вошла в комнату к Вере Николаевне, у которой в это время все сидели, и сказала довольно спокойно: «А меня сейчас чуть не зарезали!» Хозяйка посмотрела на меня с сомнением, а Вера Николаевна сказала: «А ведь правда, посмотрите, как она побледнела». Как только она это сказала, я почувствовала головокружение и села на стул. С этих пор хождение в Краснодар было для меня пыткой, особенно вечером...

Приближалось Рождество, и я решила устроить Наташе елку. Из проволоки я сделала человечков, обмотала проволоку ватой и обшила белыми тряпочками, нарисовала лица и сшила одежду из остатков, данных мне Верой Николаевной. Я сшила Красную Шапочку, эскимоса, две куклы в русских костюмах. Из проволоки с картоном и ватой сделала стол, два кресла, диван, кровать. Потом сделала книжку, сама написав стихи и нарисовав картинки. Из скорлупок яиц, взятых у хозяйки, я наделала корзиночки, положив в них конфеты, подаренные Верой Николаевной. Разрезала две церковные свечи на четыре части каждую. Чтобы добыть елку, я должна признаться, украли ее в казенном лесу, когда ходила за дровами. Хозяйка, которая пекла большие пироги, пожертвовала мне немного теста, и я сделала крендельки на елку, а из старых тетрадей цепи. Наша елка была великолепна, по крайней мере, она казалась такой мне, Наташе и маленькой Гале. В первый день Рождества мы елку зажгли, а сами играли в новые куклы. Вера Николаевна пришла посмотреть и, видя, с каким мы увлечением играем, сказала: «Какой Вы еще ребенок, не старше Наташи». Я до сих пор вспоминаю с удовольствием, как я вечерами сидела в своей лавочке и при копилке делала игрушки. Мои походы с овощами на базар участились. Или казачки ко мне привыкли, но я почти каждое утро носила в Краснодар на базар корзинки. На базар ходили, конечно, и хозяйки овощей, тоже нагруженные. Я только носила, а продавали они. Но это еще увеличило мои доходы, и я уже не голодала после Нового года.

В конце декабря Вера Николаевна позвала меня к себе, закрыла дверь и спросила, можно ли мне довериться и обещаю ли я хранить в тайне все, что она мне скажет. Я обещала. Тогда она мне сказала, что в ЧК сидят много белых офицеров и черкесов, не признающих красных, многие из них приговариваются к расстрелу. Есть такая организация, которая помогает им бежать из тюрем и переправляет горными тропинками в Турцию. Это возможно, так как их охраняют плохо, многие из стражи состоят в этой организации и многих удается подкупить. Этой организации нужно иметь жилище, куда можно приезжать, чтобы устраивать побег. Надо им жить день-два где-либо. Эту организацию возглавляет черкес князь Сагат Султан-Гирей, последний из Султан-Гиреев<sup>6</sup>. Черкесы ему очень преданы. Он учился в Петербурге, состоял в свите государя, отступал с белыми. Он должен был ехать в Англию, но когда он сел на пароход, черкесы, которые большой толпой его провожали, пришли в отчаяние, просили его не уезжать и спрашивали, как он может их бросить.

Тогда князь Сагат сошел с парохода, бросил в море свою золотую шпагу, принадлежавшую еще его деду, и сказал, что пока сможет им помогать, он останется с ними, только не хочет, чтобы его шпага, если его поймут, кому-либо досталась. Султан-Гирею нужно надежное убежище, и Вера Николаевна предлагает ему останавливаться у меня. Меня никто ни в чем не подозревает. Да можно будет сказать, что я возлюбленная Султан-Гирея, и все найдут это понятным. Но все же мне надо подумать. Султан-Гирей известен, его ловят, и он давно приговорен, и мне, если его поймут, грозит опасность. Я обещала подумать и ответить ей завтра. Думать мне надо было только о Наташе, но я знала, что Катя ее не оставит, пока я не найду Ваню. А о себе? Что мне было думать? Я не хотела зла ни красным, ни белым. Но какое же зло — спасать от смерти. Для красных это даже будет хорошо, не будет на их совести лишних смертей. Эти люди, которых спасут, уй-

<sup>6</sup> Султан Гирей Сагат Асланович. Родился в 1895 г., Адыгея, аул Кюстен-хабсн; электромонтер Усманской трудколони. Проживал: Усманский р-н, Новоуглянка. Приговорен. Обв.: 58-10 [расстрел]. *Источник: Книга памяти Липецкой обл. Подробнее о Султан-Гирее см. Щербина Я.А. История Кубанского казачьего войска. — Екатеринодар, 1914 год. — Т. 2.*

дут в Турцию и оттуда вредить не смогут. Я бы на месте красных всячески содействовала бы их бегству. Среди белых офицеров есть совсем мальчишки, лет 19-20, даже меньше, и они уйдут, и всем будет хорошо. А если я могу помочь кому-либо избавиться от расстрела, то моя обязанность на это идти. И Ваня на это не мог бы возразить... Я согласилась. Через несколько дней ко мне пришел Сагат Султан-Гирей. Сагату было 25 лет. Он был строен, тонок, очень красив, беззаботно весел и смел, даже безрассуден. Ко мне он приходил один, изредка с преданным ему черкесом Мамми, который его выходил и смотрел на Сагата с обожанием. Его телохранители, черкесы, помогавшие ему переправлять пленных, находились где-то поблизости в лесах. Освобожденные из плена бежали в указанное им место. Я их никогда не видела. Скоро Сагат, Наташа и я стали друзьями. Хотя я и считалась его возлюбленной, хотя он часто ночевал у меня в комнате, но наше дружественное и нежное отношение друг к другу не имело оттенка какой-либо влюбленности. Он стал называть меня, я забыла, как это звучало по-черкесски, старшая сестра или просто «старшая». И действительно, относился ко мне так, очень почтительно, почти восхищенно. Для меня он стал младшим братом. Черкесам он сказал, что я ему то, что у нас называется «крестовая сестра», а Мамми и черкесы называли меня по-черкесски, в переводе Сагата «госпожа». Он был магометанин и строго соблюдал все магометанские обряды. У меня были другой нож, другая кастрюля, в которой я никогда не варила свинину и не резала сала. Я думала, это Сагат делал для своих черкесов. Вера Николаевна мне как-то сказала, что в Краснодаре живет настоящая возлюбленная Сагата, он часто к ней ходит, подвергая себя опасности быть узнанным. Для меня это было безразлично, я только его просила, когда он уходил, быть осторожным, не быть таким беспечным. Сам Сагат никогда о своих отношениях с женщинами со мной не говорил. Прощаясь, он всегда целовал мне руку и крепко обнимал Наташу. Наташу он очень любил. Иногда они вдвоем подымали страшный шум, кувыркались на постели, залезали под кровать, подушки летели на пол. Он любил ложиться на пол, поднимал ноги вверх, а Наташа должна была влезть к нему на ноги и так стоять, держась за его руки. Когда он к нам приходил, Наташа бросалась к нему, крича: «Дядя Сагат! Дядя Сагат!» В глазах бабки и моей хозяйки я окончательно упала, но они, видно, стали опасаться меня и не были так грубы. А казак, муж Галины, стал ко мне даже почтителен. Вера Николаевна находила, что для безопасности мне надо было считать его возлюбленной, тем более что я относилась к этому безразлично. Но Сагата это тяготило, и он всячески старался высказать мне свое уважение. Обычно Сагат приезжал вечером, когда стемнеет. Говорил, что он приехал и исчез. Приходил под утро и оставался у меня весь день, а вечером опять уходил или уезжал. Иногда проводил у меня так два дня, но днем он никогда не выходил.

Как-то месяца через полтора приезжает Сагат. Наташа бросилась к нему, но Сагат, хотя поднял ее и поцеловал, но сейчас же поставил на пол и отошел. Наташа смотрела на него с удивлением. «В чем дело, Сагат, что с Вами?» — спросила я. Сагат молчал. «Что же Вы молчите?» — «Я заразился? — смущенно отвечал он. — Я был у врача, он говорит, что я заразился от лошадей чесоткой... Вот, — прибавил он, вытаскивая из кармана и показывая бутылку, — доктор велел мазать, втирать в тело эту гадость». Он посмотрел на Наташу с улыбкой и сунул бутылку ей в нос. «Воняет...» — сказала он морщась. Наташа отскочила. Сагат засмеялся. «Перестаньте, — рассердилась я, — где же Вы в горах зимой будете лечиться? Кто Вас там растирать будет?» — «В саклях не холодно, а Мамма отлично справится». — «Глупости, раздевайтесь сейчас же. Я Вас посмотрю и разотру». — «Вы?» — он взял мою руку и поцеловал. «Милая моя старшая, во-первых, это разное, а, во-вторых, ведь я же Вам сказал, что она пахнет ужасно, невыносимо. Ваша комната пропахнет этой мазью. Посмотрите, Наташа уже сейчас сморщи-



лась». — «Ну и пусть пахнет. Я Вам говорю, раздевайтесь сейчас же». Сагат начал медленно раздеваться. Я застелила кровать простыней. Сагат снял рубашку. Я охнула. Все тело было покрыто ступьями. «И как Вам не совестно. Невозможный Вы мальчик, глупый. Вы давно уже больны. Вы хотя бы знаете, до чего себя довели!» Сагат сидел, смущенно опустив голову. «Да снимите же Вашу одежду!» — крикнула я с досадой. Сагат послушно снял. Я налила на руки жидкости и стала растирать. Сагат улыбался смущенно, я нежно. Наташа внимательно следила за моими руками и так же, как я, хмурила брови. Я усердно втерла мазь в его тело, завернула Сагата в простыню и сказала Наташе, что я пойду помоюсь и приготовлю поесть к чаю, а Наташа, чтобы смотрела за Сагатом, чтобы он не разворачивался и не вскакивал, ему надо полежать. Я ушла в кухню и оттуда слышала возгласы Наташи: «Дядя Сагат, нельзя!» Когда я пришла, они затеяли игру. Сагат немного высовывал руку, а Наташа не позволяла и сердито кричала: «Нельзя!» Тогда Сагат высовывал палец или ногу. Оба очень забавлялись. Вдруг тихий стук в окно. Я пошла отворить. Мамми, широкоплечий, четырехугольный черкес с некрасивым, суровым лицом вошел в комнату. Я сказала, что я начала лечить Сагата, что ни сегодня в ночь, ни завтра я его не пущу. Сагат беспомощно улыбнулся и развел руками: «Хорошо, госпожа», — сказал Мамми и ушел. Несколько раз я еще лечила Сагата, потом он выздоровел. Когда я после купала Наташу, она, раздевшись, кричала: «Я совсем, как дядя Сагат».

Наша жизнь продолжалась. Настоящего, строгого порядка в городе не было. Приезжали и уезжали люди, и никто не спрашивал, куда и кто едет. В округе знали, что у нас бывают черкесы и опасались нас. В конце апреля Сагат был арестован и приговорен к смерти. Ко мне он приехал вечером и ушел, сказав, что не придет ни на ночь, ни на следующий день, а только вечером следующего дня. Как потом мы узнали, он зашел к знакомым, там переоделся в белую нарядную черкеску и в таком костюме поехал к своей возлюбленной, обрадованный своим полным выздоровлением. Около дома возлюбленной он был узнан и арестован. Но все это мы узнали после.

Рано утром мне сильно постучали в окно. Я отворила и впустила Мамми. «Сагат здесь?» — «Нет». — «Они его арестовали. Они его взяли?!» — вскрикнул Мамми и, опустившись на пол, зарыдал так страшно, с таким отчаянием, что у меня задрожали губы, а Наташа, вскочив с постели, испуганно прижалась ко мне. Я скоро опомнилась. Подняла и посадила на постель Наташу и подошла к Мамми. «Мамми, перестаньте, может быть, еще ничего не случилось, расскажите, что Вы знаете?» Мамми сидел на полу, обхватив голову руками, и раскачивался. Опять стук в окно. Вошли человек 12 черкесов. Они молчали, опустив голову и изредка поглядывая на Мамми. «Мамми, опомнитесь! Надо искать. Если он правда арестован, надо узнать, где он сидит, что можно сделать. Ведь у Вас в тюрьме есть надежные люди». Я говорила со слезами в голосе, но очень решительно. Мамми поднялся. «Правда, госпожа? Я пойду, мы узнаем. Я вернусь сегодня ночью». Они ушли. «Мамочка, что с дядей Сагатом?» — спросила Наташа испуганно. «Я еще сама не знаю, Наташа. Дядя Сагат потерялся, и Мамми не может его найти». Ночью вернулся Мамми, Сагат был арестован. Я получила от него записку: «Милый друг, не огорчайтесь. Это давно следовало ожидать. Прощайте. Сагат». Еще через ночь я передала Сагату книжку. Ему разрешили читать. Я передала не только Лермонтова или Пушкина, на обложке я написала: «Милому брату. Медленно движется время. Веруй, надейся и жди... Никитин. Сестра». Через несколько дней Мамми мне сказал, что они добились, что Сагата оставят в живых и переправят в штаб, где его будут судить, кажется, под Ростов. Но за это надо дать денег, очень много. «Ничего, мы соберем дома», — сказал Мамми. Черкесы, правда, собрали. Черкесы продали кабардинца (лошадь) Сагата, его оружие, своих овец, коров.

Реizzly скот и продавали мясо, которое охотно покупалось в Краснодаре. Я принимала в этом участие и очень ловко продавала на базаре. Скоро деньги были собраны, и Сагата увезли. «Мы его отобьем в поезде, умрем, а отобьем», — сказал мне Мамми на прощание. Я его больше не видела и ничего не знала. Только через много лет, когда я с Ваней отдыхала в Крыму, в Гурзуфе, шла я по улице. Было много народу. И вдруг у себя за спиной услышала слова: «Госпожа, Сагат жив...»

Я продолжала жить в лавочке. Советская власть укреплялась. Стало больше порядка, но еды в городе было еще очень мало. «Зеленые» исчезли. Некоторые уехали, а большая часть или перешла к большевикам, или хозяйничала дома. Меня два раза вызывали в ЧК, спрашивали, где мой муж, не у белых ли он, я говорила «нет» — и меня оставили в покое.

Вера Николаевна уехала. Мы опять остались с Наташей без еды. Комнату Веры Николаевны отдали жене комиссара. Приехала к нам женщина средних лет с девочкой лет двенадцати. «Я жена комиссара, вот ордер. Мне Вы дадите комнату?» Моя хозяйка не стала возражать. Женщина оказалась хорошая, малограмотная и очень словоохотливая; девочка была ее сестра, Леночка. С Леночкой мы с Наташей быстро сошлись, я рассказывала им сказки, они играли вместе. Славная она была девочка. Как-то одна казачка предложила мне переехать к ней. У нее было много птицы, она уходила в Краснодар продавать яйца, а дома оставались две девочки 6 и 3 лет. Мне она предложила кормить птицу, выпускать гусей к пруду, посматривать за ними и ухаживать за огородом. Хотя эта казачка была из наших соседок наиболее грубая и скупая, я согласилась и перешла к ней. У нее было очень трудно жить. Я работала, сколько могла. К сожалению, ее дочери были в мать и очень грубы с Наташей. Как-то, когда я работала на огороде, ко мне подошел старый казак. Он пожалел меня, сказал, что давно на меня смотрит и что мне трудно одной с девочкой. Наконец он спросил меня, не выйду ли я замуж за его сына? Я удивилась и сказала, что я замужем. «Ну, мужа ведь нет, а девочку мы будем любить». Я поблагодарила и отказалась, хотя в душе была польщена. Ведь надо было много и хорошо работать, чтобы старый казак предложил меня взять за сына, да еще с ребенком. Так я прожила месяц.

Вдруг приходит красноармеец, спрашивает меня и говорит, что он за мной прислан, должен меня привести к командиру ЧК в Краснодар. Я пошла с ним, взяв с собой Наташу, так как оставить ее одну на двух злых девочек не хотела. Конечно, я волновалась, но думала, что Наташу они от меня не возьмут. Красноармеец очень добродушный, нес всю дорогу Наташу на руках. Помещение, куда мы пришли, было, кажется, когда-то губернской управой. Красноармеец провел меня вверх по лестнице, указал на дверь: здесь начальник, и ушел. Я вошла. Мне навстречу поднялся молодой человек с очень приятной улыбкой и большими карими глазами. «Вы Якушкина? Так вот, давайте знакомиться. Я Фурманов<sup>7</sup>, а вот это моя сестра Лиза Фурманова», — он протянул мне руку и указал на молодую девушку с такой же улыбкой и такими же глазами, как у него. Фурманов сказал, что Иван Вячеславович в Крыму, он давно меня разыскивает через Московский ЧК. Фурманову удалось обнаружить меня в Краснодаре, и он дал знать Ивану Вячеславовичу, что я здесь. «Профессор за Вами прислал Лизу. Послезавтра идет пароход по Кубани до Тамани, а морем Вас морской пароход доставит до Керчи. Можете

<sup>7</sup> Фурманов Д.И. В конце августа 1920 г. приехал в Екатеринодар и пробыл там до мая 1921 года. 5 марта 1921 года он сделал в дневнике запись о смерти матери. Он пишет, что мама, Лиза, Настя жили во владениях Врангеля, и мы никак не могли их достичь. Но Врангеля уничтожили, освободили Крым, а вместе с тем и мы установили, завязали связи с дорогой частицей разбросанной семьи. Сегодня Лиза прислала письмо. Е.А. Фурманова (1899–?). *Ист.: Д.А. Фурманов. Собр. соч. — М., ГИХЛ, 1967. — Т. 4. — С. 247.*

этим пароходом ехать. Я дам пропуск и устрою Вас». Он прибавил, чтобы обо всем я переговорила с Лизой.

Я не буду говорить, как я была счастлива. На третий день я, продав казачке постель, ехала с Лизой на кубанском пароходe. Фурманов нас снабдил едой. Кроме нас, на пароходe ехало много народу и большинство в Крым. Пароход доставил нас в дельту Кубани, и капитан сказал, что здесь мы должны дожидаться морского парохода. Нас высадили прямо на песок. Всех нас поразил ужасный запах. В Тамани мы узнали, что рыбаки наловили очень много рыбы для Красной Армии, но ее не на чем отправить, а соли для того, чтобы она сохранилась, нет. И вся эта рыба, сваленная в кучу, гниет. Мы пытались узнать, почему нет пароходов и скоро ли какой-либо придет, но здесь ничего не знали. Мы все сидели на песке. В городе было некуда деться, на третий день ко мне подошел старый рыбак и дал мне только что пойманного судака. «Это девочке, — сказал он. — Только придется варить без соли, соли нет». Мы разложили костер из отбросов, щепок и сухих водорослей и варили судака в манерке, которая была у Лизы. «Здесь недалеко в море стоит моторная лодка, на ней комиссар приехал из Керчи. Вы его попросите, может, сvezет. Девочка тут пропадет. Только вы никому не говорите. Пойдемте, я Вас сvezу. Лодка возьмет. Жалко девочку...» Я взяла на руки Наташу и поехала с ним. Мы подъехали к моторной лодке. Я спустила Наташу, подошла к комиссару и стала его просить взять меня, Лизу и Наташу. Он решительно отказал, сказал, что у него несколько человек матросов и ему некуда взять. В это время к нему подошла Наташа. «Здравствуйте. Это Ваша лодка?» — спросила она. Он посмотрел на нее, улыбаясь. «Моя, а что?» — «Большая, а у рыбака маленькая», — прибавила она тоненьким голосом. Комиссар засмеялся и взял ее на руки. «Это Ваша девочка?» — Я кивнула. — «А ты куда едешь?» — «К папе, я папу давно, давно не видела». — «А папу любишь?» — «Люблю, и мама любит». — «Где вы живете?» — спросил комиссар. Я указала на песок. «Вот тут, на песке». — «Почему же вы не идете к рыбакам?» — «Не берут, нас очень много приехало, некоторые устроились. Они платят продуктами, а нам нечем». Комиссар подумал. «Хорошо, — сказал он. — Я вас беру, только Вы другим не говорите. Поедешь со мной? — обратился он к Наташе, — на этой большой лодке?» — «Поеду». Я поблагодарила и, оставив Наташу на руках комиссара, поехала за Лизой.

Сначала мы ехали хорошо, хотя ветер делался все сильнее. Под вечер началась буря. Нашу лодку бросало в разные стороны. Мы сидели в каюте, наглухо запертой, и валялись то в ту, то в другую сторону. Мы два дня так качались на виду Керчи, пристать было невозможно. Наконец, буря начала утихать. Волны делались все меньше и, наконец, дали нам возможность подойти к молу. Нам бросили канат. Мы перетянули к себе привязанную за канат веревочную лестницу. Наш матрос сбежал по ней на мол. Комиссар позвал меня: «Бегите!» Я в ужасе посмотрела на лестницу. Она колыхалась. То вся напрягалась, то утихала вода. «Я не пойду, я боюсь». Комиссар раздраженно посмотрел на меня и сказался что-то матросу, указывая на Наташу. Матрос подхватил Наташу и побежал с ней по лестнице. Я, конечно, за ним. Вслед за мной перебежала и Лиза.

Мы были в Керчи и пошли на вокзал. Вокзал был полон красноармейцами и матросами. Поезда на Симферополь ходили редко, сесть на них было невозможно. Мы с трудом пробрались к начальнику и показали ему пропуск Фурманова. С трудом нас усадили в поезд. Поезд нас довез до станции Джанкой, и машинист заявил, что дальше его паровоз идти не может, а вернется в Керчь и что от Джанкой до Симферополя идут другие поезда. Публика кричала, спорила, но все же все вышли из поезда. Мы стояли на перроне, т.е. мы стояли у самих рельс, а перрон был занят толпой и красноармейцами. Несколько дальше от рельс, прямо на перроне лежали сыпнотифозные солдаты. Не только перрон, но и далеко за ним ле-

жали больные. Одни из них бредили, кричали, просили пить, другие были уже мертвы. Здоровые и полуждоровые красноармейцы, голодные и злые, толкая друг друга, толпились около рельс, стараясь протолкнуться поближе, лишь бы уехать из этого ужасного места. Когда изредка подходил поезд, то его брали штурмом, лезли в двери и окна, на крыши вагонов. Крики, ругательства и стоны стояли в воздухе. Постепенно через толпу и больных мы пробрались далеко за перрон, в степь, куда уже тихо долетали крики, и сели на землю. Отдохнув и немного опомнившись, мы стали собирать колючки, перекати-поле, клочки травы и соломы. Наташу я взяла на руки. Так прошла ночь. Начал накрапывать дождь. Я подумала, что если Наташа промокнет, то мы ее не спасем от воспаления легких и решила во что бы то ни стало пробраться к начальнику станции. Поездов в это время никаких не было. Я с трудом, но пробралась к нему и показала письмо Фурманова. «Что же я могу сделать? Вы видите, меня даже не послушают». — «Но я должна иметь хоть крышу над головой. Ведь я простужу ребенка!» — «Крышу я тоже Вам дать не могу. Вон, — он указал на запасные пути, — там стоят пустые товарные вагоны. Только вряд ли они Вам подойдут. Мы из них недавно разгрузили сыпнотифозных. Если хотите, занимайте». — «Хорошо», — сказала я и решительно пошла к вагонам. Вагоны стояли с широко открытыми дверями. Они были полны гноя, испражнений и вшей. Лиза отказалась в них войти, говоря, что мы заболеем сыпняком. Но я возразила, что если мы и заболеем, то не раньше, как через 2 недели, а я надеюсь приехать в Симферополь раньше. Но, отказавшись войти, Лиза усердно мне помогала снаружи. Мы вырвали самый чистый вагон, нашли на задворках лопату, ободранную метлу и дырявое ведро. Сначала я выгребала все лопатой, посыпала землей с песком и опять выгребала, так несколько раз, потом — метлой. Обмывали все водой, приносимой Лизой из колонки. Она набирала полное ведро, но приносила в дырявом ведре меньше половины. Отмыв самую грязь, мы набрали еще колючек, травы и папоротников и послали на пол. Мы работали до вечера. Вагон был довольно чист, но запах мы не могли выветрить, и дверь нельзя было закрыть. Надев на Наташу теплое пальтишко, я ее уложила и легла.

Утро было великолепное. Солнце светило ярко, было так тепло, что мы с Наташей поспешили выйти из вагона. Я сказала Наташе, чтобы она не ходила на перрон и на рельсы, а лучше в степь собирать перекати-поле, а сама с Лизой села около вагона чинить Наташину шубку. Далеко от вагона мы не отходили, боясь, чтобы кто-либо не захватил чистый вагон. Через некоторое время мы услышали радостный крик Наташи: «Мама, мама!» Наташа подбежала ко мне. Ее руки были сжаты в кулачок, и она высыпала мне на колени кучу английских булавок: «Посмотри, что мне дяди подарили». — «Какие дяди?» — «Там сидят, они очень хорошие, они мне дали хлеба и сала, я съела, пойдем я тебе покажу». Наташа потащила меня за юбку. Я пошла, чтобы посмотреть, кто это мог дать Наташе такой странный подарок. Я увидела недалеко от нашего вагона человек 25 матросов. «Наташа!» — закричали они. Наташа подбежала к ним, взяла за руку огромного матроса, с красивым, грубым, обветренным лицом и закричала: «Идемте, я Вас познакомлю с мамой... Пойдемте же». Матрос встал и подошел ко мне. «Это Ваша девочка?» Я кивнула. «Хорошая девочка, смелая, никого не боится». — «Где Вы достали столько булавок?» — спросила я с любопытством. «Да тут... господ офицеры тут госпиталь был, белых. Ну мы их всех...» — он махнул рукой и, видя, что я смотрю на него с ужасом, прибавил жестоко: «Всех, и докторов, и сестер... Что боитесь?» Я молчала. «А вот она не боится», — указал он на Наташу. — «Наташа, пойдешь со мной к матросам?» Наташа с радостью закивала. «Пойдем, там кулеш варят». — «А мама?» — «И маму накормим». — «Нет, спасибо», — сказала я сухо и пошла к вагону. Уходя, я слышала болтовню Наташи и хохот матросов. «Может быть, нехорошо, что я к ним пустила Наташу?» — думала я, с отвра-

цением отбрасывая английские булавки. «Нет, пускай. Пускай в людях видит только хорошее, может быть, они сами лучше сделаются». В полдень большой матрос подошел к нашему вагону с Наташей в одной руке и с манеркой с кулешом в другой. Он предложил кулеш мне и Лизе. Лиза съела свою порцию, и я была так голодна и тоже съела. Матрос спросил, куда и зачем мы едем, как думаем доехать. Я ему все рассказала откровенно и прибавила, что будем здесь жить и ждать, пока сможем сесть в поезд. «Ничего Вы здесь не дождетесь, лучше уж пешком идите и то далеко не уйдете. Вот что я Вам скажу. Ребенка оставлять так нельзя. Мы ее не оставим. Мы едем в Севастополь, и вас захватим с собой до Симферополя». — «А вы как сядете на поезд». — «Это уж наша забота...»

Как только поезд подошел, матросы пошли к нему. Один из них нес Наташу на руках, мы с корзинками шли за ним. Большой матрос, подойдя к одному из вагонов, вынул наган и, выстрелив в воздух, закричал: «Ну, живо! Все из вагона, выселяйся! Буду стрелять!» И опять несколько раз выстрелил в воздух. В окна сунулись руки с револьверами. С криком и плачем, но вагон скоро был очищен. Матросы быстро влезли в него, мы за ним. Больше никто не смел сесть в вагон. Матросы широко расположились на лавках. Мы с Лизой скромно сели в конце в углу вагона. Ехали мы очень долго. Поезд то и дело останавливался из-за отсутствия топлива. Пассажиры и красноармейцы бежали в разные стороны искать все, что можно использовать как топливо. Матросы не бегали. Приносили все: дрова, деревья, кусты, сломанный телеграфный столб, изломанную тачанку. Нагромождалась целая куча. Поезд трогался, но скоро эта куча сжигалась, и паровоз опять останавливался. Иногда, когда недалеко мелькали дома, какой-то из матросов подходил к машинисту и просил его подождать, пока он сбегает: «Вот тут, недалеко». Матрос уходил и возвращался всегда с едой. Как и где они это получали, мы не спрашивали. Матросы целый день развлекались с Наташей. Вечером я подошла к ним и хотела уложить Наташу спать. У нее уже закрывались глаза от усталости. «А где вы ее уложите?» — спросил матрос. «На скамейке». — «Да разве ей можно спать на голой скамейке, холодно и жестко... Наташа, хочешь спать вот так?» — сказал он, укладывая ее у себя на руках. «Хочу», — сказала Наташа, нежно пряча голову у него на плече. Я стала возражать, говоря, что не может же он держать так Наташу всю ночь, она тяжелая, он устанет. «А устану, другой подержит, пока я отдохну. Вы ложитесь, а о Наташе мы позаботимся», — говорил матрос, с нежностью глядя Наташу по голове. Да, в его лице, в улыбке, в том как он прижимал Наташу к себе, слегка ее покачивая, была нежность. Я думала о разграбленном госпитале... Не помню, сколько мы ехали. Приехав в Симферополь, матросы очень долго прощались с Наташей.

В Симферополе был Ваня, который в поисках Наташи и меня попал в Симферополь и был здесь профессором Симферопольского университета. Теперь я была не одна. Я могла передать ему всю заботу и обо мне, и о Наташе. Я была не одна, и я любила его. Во время моего приезда Вани не было дома. Он был в столовой университета, которой заведовали университетские дамы. Он обедал, когда ему прибежали сказать, что мы приехали. Дамы мне рассказывали, что он выскочил из-за стола и когда его спросили, почему он не кончает обед, то он только радостно воскликнул: «Они приехали!»

Ваня во все наше пребывание в Крыму был деканом агрономического факультета Крымского университета, много занимался делами факультета, читал лекции и вел большую научную работу, между прочим, по крымским пшеницам, в которой ему помогали его ассистенты Богдан и Дроздов. Кроме того, он заведовал четырьмя хозяйствами университета, очень разоренными, истоптанными, засоренными белыми, Красной Армией и татарами. В этом его помощниками были два брата Грековсы. Надо было не только приводить поля в порядок, но и кормить

университет. Мы получали от государства 100-200 гр. хлеба на день и больше ничего. На базарах почти ничего не было, и деньги катастрофически падали в цене. Надо было собрать остатки хлебов и плодов, кормить скот, привести в более или менее жилой вид помещение для студентов, рабочих, профессоров — в трех имениях, четвертое было в горах, и там паслись остатки отары овец. Надо было поднять хотя бы часть земли и посеять хотя бы немного травы для скота. Была уже поздняя весна, почти лето. Вместо рабочих, которых было всего несколько человек, были студенты, не умевшие обращаться ни с землей, ни со скотом, ни с садом. При университете была образована столовая, обслуживаемая женами профессоров. Столовая была платная, но купить было почти ничего нельзя, и снабжение столовой лежало тоже на Ване. Ваня ездил по имениям, где налаживал работу, вел дела по факультету и свои научные дела, распределял молоко и овощи между профессорами, ходил на заседания к комиссару Симферополя, выпрашивал там то крупы, то сена, то материал для построек. Наташа и я вместе со студентами и почти всеми профессорами агрономического факультета жили в имениях Каяш и Албашево. Впрочем, в Каяше, где сохранился один флигель, в двух крохотных комнатах жили мы с Наташей, Грековы, бухгалтер Матвеевко с семьей и жена какого-то комиссара. В Каяше же жили рабочие, садовник, экономка, но в другом домике, в котором помещалась и кухня. Остальные студенты, профессора, их кухарка, писатель Тренев с семьей, Богдан, Дроздов, а потом, по приезду, тетки Ивана Вячеславовича с бабушкой и горничной Катей, жили в Албашево. Еще в одном имении неподалеку жили студенты и бывшая там за кухарку вполне интеллигентная женщина с двумя детьми, которую приютил Ваня. От огромного дома, когда-то бывшего в Каяше, сохранилась большая двухэтажная каменная лестница, на которой профессора читали лекции. Все дети профессоров и некоторые больные жены получали по литру молока от коров из имений. При Каяше был огромный, хороший, но очень запущенный сад и виноградник. Ваня жил в городе, изредка приезжая к нам, когда он читал лекции. Мы с Наташей его почти не видели, т.к. кроме лекций в Каяше у него было очень много неотложных дел и со студентами, и по постройкам, и вообще по имению. Наташа была сыта. Мы ели какой-то обед, у нее был хлеб, было молоко, и Ваня все деньги, которые он зарабатывал, тратил, чтобы у нее всегда был сахар. В то время Ваня совсем не был похож на того, какого вы знали потом. Он был очень худ, волосы его были еще гуще и курчавились. Одет он был в русскую рубашку и в пальто, которые Нина Вернадская ему перешла из своего. Правда, Нина была небольшого роста и худенькая, и Ваня со своими широкими плечами и высоким ростом, выглядел немного комично. Вернадские ко времени моего приезда в Крым уже уехали (в Петербург, куда их вызвало правительство), но, уезжая, они нам оставили кое-какие свои вещи, которые я обменяла на базаре на материал, и обшивала, правда, без машинки, на руках, Ваню, себя и Наташу. Я не умела шить, но до сих пор с гордостью смотрю на нашу семейную карточку, на которой мы все трое одеты в вещи, сшитые мною.

На чердак нашего дома вела ужасная приставная лестница, без перил и без многих ступенек. Здесь Ваня устроил лабораторию, часть которой помещалась в Симферополе, в ней распоряжался Дроздов. Как только хватало у Вани сил так жить. Но он всегда был бодр, никогда не раздражался, и никогда я его не видела отдыхающим. Со мной и Наташей он и после никогда не раздражался. Один из профессоров написал ему, что его больная жена не может есть то, что дают в столовой, и Ваня отдал ему свой паек хлеба, заменив его для себя свеклой. Как-то, просидев на заседании у комиссара Симферополя полдня, Ваня вышел от него и, не в силах удержаться, достал из кармана свою печеную свеклу и стал есть на улице. Комиссар увидел его в окно и, указав на Ваню другим присутствующим, сказал: «Вот какие люди нам сейчас нужны». С ним случались и смешные случаи.

Как-то приехал он из Симферополя в Каяш. Я увидела, что он какой-то смущенный и грустный, и спросила, что с ним. Он нерешительно вынул из кармана письмо и подал мне. Письмо было от профессора животноводства. Жена профессора была недавно больна и как больная получала молоко. Когда она выздоровела, молоко стала получать другая. В письме профессор писал, что Ваня отнял у его жены молоко, вероятно, желая, чтобы она опять заболела. Он этого допустить не может. Ваня слишком жесток к его жене и поэтому он вызывает Ваню на дуэль. Ваня так растеряно смотрел на меня, что я с трудом удержалась от смеха: «Ну, что же, Ваня, держись, отказаться нельзя, — и прибавила, — только вот не знаю, на чем вы станете драться?» — «Ты всегда смеешься, а я не знаю, как быть?» — огорченно сказал Ваня. Я посмотрела на его худое, измученное лицо и сказала, обнимая его с нежностью: «Ну, какая дуэль? Это чепуха. Ему самому станет совестно». Ваня повеселел. Боже мой, как я любила его. Да не только я, все, все его любили. Один раз я была в Симферополе и пошла с ним в столовую. «Иван Вячеславович пришел!» — закричала хозяйка радостно. «Иван Вячеславович пришел!» — закричали на кухне. Одна из дам поспешно подошла к столу, вытащила откуда-то белую скатерть, постелила ее, достала красивую сербскую тарелку, серебряные ложку и вилку. «Это мы из дома принесли, специально для Ивана Вячеславовича», — сказала она, весело и нежно улыбаясь. Все студенты его любили. Это подтверждают написанные ему письма и стихи перед отъездом.

Несмотря на полуголодное существование и неумелую, но большую и тяжелую работу, студенчество не унывало. Так же, как всегда, вечерами звучали песни, танцы, уходили в сад парочки, между студентами был хороший хор и у некоторых были голоса. Н.А. Дроздов безнадежно, но сильно влюбился в студентку Шуру Пасхалову. Шура, хорошенькая девушка, кокетничала со всеми, но, по уверению Дроздова, больше всех с Аведиктом Мазлумовым<sup>8</sup>. Николай Андрианович приходил ко мне жаловаться на Мазлумова, который грозился его поколотить, и рассказывал о своей любви к Шуре. Я его утешала, как умела. В Алабашеве жил со своей дочерью Вавочкой профессор Г.Н. Высоцкий<sup>9</sup>. Он был очень строг к дочери и не позволял ей никуда выходить без себя. Вавочке, кроткой, милой двадцатилетней девушке, очень хотелось к студентам на их вечерние сборища. Когда Высоцкий куда-либо уходил, то строго приказывал Вавочке сидеть дома, но, не совсем доверяя ее благоразумию, запирали ее на ключ. Тут уже нужна была моя помощь. Я просила Георгия Николаевича пойти со мной в горы ботанизировать.

Это действительно было очень интересно. Георгий Николаевич знал не только название каждой травы и цветка, но он знал, откуда она происходит, какое у нее название на том языке, где ее родина, иногда очень поэтическое и какие ей предписываются лечебные или волшебные свойства.

Иногда мы уходили с Георгием Николаевичем в горы очень далеко, а тем временем студенты подобранным ключом отпирали дверь и похищали Вавочку. Выборные сторожили наше возвращение. Вавочка к приходу отца уже сидела запертая в комнате. Был и еще один очень интересный профессор ботаники и физиологии Кузнецов<sup>10</sup>. Много после они оба стали академиками. Профессор Кузнецов славился своими блестящими лекциями. Как и большинство других профессоров,

---

<sup>8</sup> Мазлумов А.Л. (1896–1972) — селекционер, лауреат Ленинской премии. Ученик И.В. Якушкина по Таврическому университету, переехавший с ним в Воронеж и ставший известным ученым.

<sup>9</sup> Высоцкий Г.Н. (1865–1940) ботаник, академик АН УССР. В 1919–1922 — профессор Крымского университета.

<sup>10</sup> Кузнецов Н.И. (1864–1932). Ботаник. В 1918–1921 гг. — профессор Крымского университета.

он читал лекции на лестнице разуруженного дома. На площадку лестницы ставили стол, стул, доска. Студенты садились на лестницу. Ассистентом у Кузнецова была Наташа. Она должна была к его лекции приготавливать мелок, цветные карандаши, развесить таблицы. Развешивать ей помогали студенты. Задолго до лекции Наташа была готова, она все приносила, подметала лестницу и важно сидела ждать профессора. Ей уже было почти 4 года, и она очень серьезно относилась к своим обязанностям, также серьезно к ним относился и Кузнецов. Он ей говорил, какие экспонаты надо приготовить к следующей лекции, что он будет читать и о чем, чтобы она могла объяснить студентам.

Н.А. Дроздов<sup>11</sup> тоже уделял Наташе много внимания.

Июль, август и сентябрь стояла исключительная жара и засуха. Трава выгорала. Листья на ветках засыхали и зелеными падали на землю. Скоту и лошадям было плохо. К нам в Каяш, когда Ваня был в Симферополе, жокей привел английского скакуна с аттестатами, взявшего призы в Москве. Жокей сказал, что ему лошадь нечем кормить, и он отдаст жеребца за полпуда муки. Хотя жокей сказал, что он очень злой и норовист, но Павел Иванович (зоотехник) купил его. Он хорошо ездил верхом и, посоветовавшись с братом Романом Ивановичем, тоже хорошим ездоком, решил, что они с ним справятся. Ваня был очень недоволен, так как и свой скот голодал. Через несколько дней Павел Иванович поехал на жеребце, и жеребец вернулся один, а Павла Ивановича привезли уже в таратайке, сильно ушибленного. Следующего скакун сбросил Романа Ивановича и так неудачно, что нога Романа Ивановича осталась в стremени, и он до самого дома волочился по земле. К счастью, Роман Иванович отделался только растяжением жил. Мне страшно хотелось поехать. Некоторое время я колебалась, но потом, выждав, когда все были в Симферополе, сказала, чтобы мне оседлали лошадь. Я знала, что надо быть осторожной, так как жеребец, если ему не удавалось сбросить всадника, вгрызался зубами ему в колено. Все обошлось благополучно. Ах, как я была довольна! Скакать по полям было наслаждением, которого я так давно была лишена. Теперь я часто и благополучно на нем ездил. Сначала Ваня беспокоился, потом привык.

Ване уже давно хотелось привезти из Ялты бабушку Аграфену Алексеевну и двух теток. Наконец, в августе он решил попросить Николая Андриановича съездить за ними. Надо было ехать, пока оставалось хоть немного корма для лошадей, а в горах от «зеленых» стало сравнительно спокойно. Запрягли пару лошадей в арбу, на которой поехал рабочий, и другую пару в линейку, которой правил Николай Андрианович. Дали им буханку хлеба, сена и соломы для лошадей, я отдала свой меховой жилет (в случае холода в горах), и они поехали.

Я так часто слышала рассказ об этой поездке, что хочу вкратце ее описать. Она был началом дружбы Николая Андриановича со всей нашей семьей. Начало пути проходило благополучно. Но как только они въехали на Чатыр-Даг, послышался выстрел, и на дорогу вышло несколько вооруженных людей и схватили под уздцы лошадей. Начался обыск. Сразу нашли буханку хлеба, но тут Николай Андрианович запротестовал и просил, чтобы они взяли половину, а половину оставили им, так как им нечего есть. Люди согласились оставить третью часть и за это отдать им табак, на что Николай Андрианович опять возразил, что все они не отдадут, и отсыпал им половину. «Я, главное, — рассказывал Николай Андрианович, — очень боялся, что они найдут кацавейку Марии Федоровны, она была спрятана под сиденьем, под соломой. Я думал, ну как я приеду без кацавейки? К счастью, они ее не нашли и нас отпустили».

Они доехали благополучно до Ялты, явились к теткам, и Николай Андрианович объявил, что завтра они выезжают. Тетки заохали, особенно Катя, их давняя

<sup>11</sup> Дроздов Н.А. — профессор Ленинградского сельскохозяйственного института.



домработница, и просили отложить хотя бы на два дня. Но Николай Андрианович категорически сказал, что завтра они выезжают, так как корма лошадям почти не осталось. «Я, знаете, Мария Федоровна, с ними был строг, — говорил Николай Андрианович, хмуря белокурые брови и поднимая на меня свое юное и наивное лицо. — Я как стукну рукой по столу: укладывайтесь!» Людмила Николаевна сказала, что не знает, как ей быть: она уже давно отдала спекулянту свою бриллиантовую брошь, а он не несет деньги. «Я узнал, где живет спекулянт, и пошел к нему и говорю: “Вам отдали брошь, давайте ее сюда! Он было замылся, а я говорю, что сейчас же иду к начальнику ЧК, он мой приятель. Тот испугался и отдал... Нагрузили арбу до отказа. Какие-то корзинки, кресла, постели, бочка с хамсой и т.д. Хотели еще положить пианино, но я запротестовал, взял бабушку на руки, посадил в линейку. Укутали они ее, обложили подушками, сели тетушки с Катей и поехали. Доехали до подъема в горы — лошади стали. Я говорю: “Бросайте вещи под откос!” Катя заохала, я конюху: “Бросай!” Все эти столы, кресла полетели. Поехали — опять стали лошади. Я кричу: “Бросай еще!” И кровати полетели. Потом: “Рвите листья, сухую траву, лошади голодные не пойдут”. Мы с конюхом рвали, и Варвара Николаевна с Катей стали рвать. Поехали — опять лошади не идут. А на арбе стоит большая бочка с хамсой. “Бросайте бочку!” Катя как заголосит — не дает бочку. “Оставляйте Катю с бочкой!” Она испугалась и спрашивает: “Куда же я денусь?” — “Уходите назад в Ялту с бочкой!” Тетушки молчат. Катя села в линейку с плачем. Пустил я бочку под откос. Нарвали еще листьев. Варвара Николаевна сорвала 4 листика и несет лошадям. И так всю дорогу, а кацавейку я все же сберег...»

Со времени поездки Катя боялась Николая Андриановича, как огня, бежала исполнять его просьбы и уверяла всех, что он очень жестокий: «Прямо зверь: хотел меня под откос бросить». Николай Андрианович тоже старался мне доказать, что он умеет быть решительным и строгим и очень обижался, когда я при его рассказе смеялась.

## V. ЭПИЛОГ

Драматическая судьба трех сестер Татариновых отражена в их воспоминаниях. Сразу после Октября Лаврентий Иванович и Александра Федоровна Пуцины через Финляндию и Норвегию эмигрировали в Англию. Через короткое время Лаврентий Иванович Пуцин уехал в Америку. Александра Федоровна с огромными усилиями сумела вырастить пятерых детей, дать им образование, выдать замуж четырех дочерей. Позже она вместе с сыном также перебралась в Америку. Многочисленные потомки Александры Федоровны (Пуцины, Небольсины и др.) и в настоящее время живут в Англии и Америке.

Записки Александры Федоровны Пуциной дают полную интереснейших подробностей картину жизни русской дворянской интеллигенции в период готовящейся и наступившей революции и последующей эмиграции.

Варвара в конце 1919 года вместе с родителями и братом эмигрировала в Болгарию, позже во Францию. Из Болгарии она писала сестре, что было возможно во времена НЭПа. Во Франции ее встречал муж одной из дочерей Александры Федоровны, отмечал особую тоску Варвары по России. Она умерла перед войной. Ее родители также умерли в предвоенные годы. Младший брат Варвары Юрий Федорович Татаринов в годы войны был участником французского Сопротивления, а в 1950 году с женой и детьми вернулся в СССР, где его судьба также оказалась не простой. (Он жил и умер в городе Тамбове). Дочь Юрия Федоровича Наталья Юрьевна окончила в Москве педагогический институт и стала крупным специалистом по французскому языку.

Мария Федоровна в 1921 году, как описано в ее воспоминаниях, приехала с дочерью в Крым, где И.В. Якушкин работал в это время в Таврическом университете. Это учебное заведение в Симферополе было основано в 1918 году. В 1918–1922 годах там работали многие выдающиеся ученые. В.И. Вернадский вспоминал о занятии Крыма большевиками: «Я чуть-чуть не поддался панике: сидел в экипаже с Н.Е. (Вернадской), Ниночкой (Н.В. Вернадской), И.В. Якушкиным. Вовремя спохватился и решил ждать большевиков».

Весной 1922 года в Крым из Воронежа приехал Владимир Митрофанович Бунин. Он работал с Иваном Вячеславовичем в СХИ и был к тому же членом партии. Он пригласил Ивана Вячеславовича вернуться в Воронеж, чего тот боялся сделать, так как ушел оттуда с денкинцами. Бунин заверил Ивана Вячеславовича, что его за это не будут преследовать. Мария Федоровна всю жизнь была благодарна Бунину, хотя и подсмеивалась над ним, уверяя, что он так ленив, что ложится спать, не разуваясь. В Симферополе все очень сожалели об отъезде Ивана Вячеславовича, так как его энергия спасла сотрудников университета и студентов от голодной смерти. Вместе с Иваном Вячеславовичем в Воронеж уехала группа выдающихся учеников, получивших позднее большую известность и остававшихся близкими друзьями семьи. В 1923 году у Якушкиных родился сын Дмитрий.

Иван Вячеславович Якушкин (1885–1960) родился в семье внука декабриста, известного филолога и общественного деятеля Вячеслава Евгеньевича Якушкина. Его мать Ольга Николаевна, урожденная Фон Рутцен, была двоюродной сестрой Федора Васильевича Татаринова. Иван Вячеславович окончил Московский сельскохозяйственный институт (Петровскую академию), после работал в Полтавском земстве участковым агрономом. В 1913 году он вернулся к научно-педагогической работе в Петровской академии. В том же году женился на своей троюродной сестре Марии Татариновой. С 1913 по 1917 годы супруги жили в доме около Соломенной Сторожки поблизости от Петровского-Разумовского. В 1917 году И.В. Якушкин был избран профессором организованного тогда Воронежского сельскохозяйственного института (ВСХИ). С 1922 по 1930 годы Иван Вячеславович работал профессором ВСХИ, а также директором организованной им Рамонской опытной станции. В 1930-м был арестован как противник коллективизации. Частичное изменение отношения к научным кадрам в середине 30-х позволило Ивану Вячеславовичу выйти из лагеря и вернуться к работе в сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. В 1934 году он был избран академиком ВАСХНИЛ. Трудился заведующим кафедрой растениеводства до 1957 года. Умер Иван Вячеславович в 1960 году. Его супруга Мария Федоровна скончалась в 1965 году.

Дочь, Наталья Ивановна Якушкина (в воспоминаниях Наташа), родилась в 1917 году и прожила до 2006 года. Она пошла по стопам отца. Профессор, доктор биологических наук, специалист и автор учебника по физиологии растений. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева и аспирантуру при ВИУАА им. Гедройца под руководством проф. Е.В. Бобко. В 1951–1961 годах заведовала кафедрой физиологии растений в Воронежском государственном университете, а с 1961-го по 1987 год — кафедрой ботаники в МОПИ им. Крупской.

### **А.Ф. Пуцина. Жизнь в Англии**

Наконец мы на миноносце достигли Англии, и Лавруша отыскал двух своих лицейских друзей — Ермолаева, кто был финансовым агентом русского императорского правительства, и Е.В. Саблина, советника посольства в Лондоне. В это время британское правительство было обеспокоено угрозой забастовок, организу-



И. В. Якушкин

емых лейбористской партией в поддержку русской революции, и поэтому г-н Ллойд-Джордж попросил Лаврушу встретиться с г-ном Вильсоном, одним из лидеров лейбористов, который организовал для Лавруши выступление через переводчика, т. к. он недостаточно знал английский, чтобы объяснить опасность мира с Германией, который инициировало большевистское правительство, и указать, с другой стороны, на усилия русских генералов, преданных императору и борющихся с властью большевиков, остаться верными союзникам и продолжать войну с Германией.

Лавруша через некоторое время присоединился к иммиграционной секции прежнего русского правительства в Лондоне, которая занималась постепенной ликвидацией своей собственности. Иммиграционная секция была в контакте с разными иностранными государствами, предлагавшими свою помощь русским эмигрантам. Были избраны представители, направленные в различные государства, чтобы ознакомиться с землями и условиями, которые могли быть предоставлены нашим соотечественникам. Мы сняли дом в Северном Лондоне, где проводились встречи с этими представителями, когда они возвращались, чтобы доложить о результатах своих поездок. Я вспоминаю, как два бывших морских офицера вернулись из Абиссинии, чтобы обсудить возможности поселения в этой стране. Мы сидели вокруг большого стола, и наши мужчины с большим вниманием выслушивали эти сообщения. Я была в то время еще достаточно молода и, возможно, легкомысленна, чтобы видеть юмористическую сторону происходящего, и когда член комитета, старый генерал спросил, какую одежду жители Абиссинии носят в жару, и наш эмиссар серьезно ответил: «Ничего, кроме шляп». Г-жа Губская, которая сидела около меня, и я не могли подавить веселья, представив себе наших старых генералов в таком виде, а Лавруша посмотрел на меня очень серьезно, чтобы остановить мои смешки. В результате только двое из наших людей со своими семьями решили отправиться в Абиссинию, и, как я понимаю, эти люди оказались полезными при формировании эфиопской армии.

Более многообещающие предложения явились из Югославии — климат и земли, подходящие для фермерства, представлялись привлекательными. Принц Сергей Ольденбургский и мой муж заинтересовались этим, но никто из нас не имел фермерского опыта, и ограничились обсуждением этого плана.

Так как наши дети не знали английского, мы всех их устроили в частные школы. Иван первым пошел в подготовительную школу в Байфлите, рекомендованную друзьями, а четыре младших девочки поступили там же в небольшую частную школу. Лавруша оплачивал учебу из денег, привезенных из России, но этот источник стал быстро иссякать, не было никакой надежды получить из России еще что-нибудь, и я была рада, когда м-р Оноу, прежний русский консул в Лондоне, который защищал интересы эмигрантов, предложил мне секретарскую работу. Сперва в мои обязанности входило вырезать и сортировать всю информацию о России, которая появлялась в лондонских газетах, а также интервьюировать новых беженцев, прибывавших из России, прежде чем их примет м-р Оноу. Эта работа оставляла мне достаточно досуга, чтобы изучить с помощью книг машинопись и стенографию. Одна семья новых беженцев из Петрограда удивила меня, упомянув, что в Петрограде их адрес был: кв. 4 в доме 17 по Кирочной. На мой вопрос, как долго они там жили, они сказали, что только четыре месяца, т.к. после этого были арестованы и содержались под следствием. Позднее их выпустили, т.к. не нашли за ними вины в хранении оружия. Они были членами левой партии, и власти позволили им занять нашу квартиру, после того как мы исчезли из Петрограда. Квартира была заполнена нашими вещами, кроме некоторых исторически ценных картин и портретов из кабинета мужа, которые власти передали в музей Пушкина. Время от времени власти приходили, чтобы забрать еще какие-нибудь наши вещи, и один раз пришедшие пошли по лестнице, ведшей из кухни на галерею, где у нас был большой шкаф с разными громоздкими вещами. Открыв шкаф, представители власти неожиданно нашли военную амуницию и оружие. Они арестовали нового хозяина квартиры и его жену, подозревая их в антикоммунистической деятельности, потом поверили, что они не знали, что хранится над кухней, т.к. квартира была им передана заполненной вещами. Тогда их освободили. Я не открыла беженцам, что женщина, которая их интервьюировала, была прежней хозяйкой квартиры на Кирочной, но для меня все это было также сюрпризом, т.к. я ничего не знала о хранении оружия.

Однажды в воскресенье мы с Лаврушей встретили в русской церкви князя Долгорукого, гофмейстера императрицы Марии Федоровны, матери императора Николая Второго, которая прибыла в Лондон из Крыма и жила вместе со своей сестрой, королевой Александрой в доме Мальборо. Я попросила князя Долгорукого передать ее величеству, что я была бы счастлива сделать для нее что-либо, если в этом есть какая-то необходимость. Через два дня Лавруша получил телеграмму от князя Долгорукого, в которой говорилось, что ее величество приглашает нас в определенный день к чаю. У меня не было подходящего к случаю платья, но Лавруша сказал, что ее величество все поймет, и я перестала беспокоиться. Мы были встречены фрейлиной, которая проводила нас в гостиную, где увидели старую леди в черном, которая встала с софы, чтобы встретить нас. Я поцеловала ей руку и была глубоко тронута, глядя на ее милое и дружеское лицо, так хорошо знакомое всем в России. Она пригласила нас сесть и спросила о наших детях и условиях, в которых мы живем в Лондоне. Потом после небольшой паузы она сказала мне: «Было очень мило с Вашей стороны предложить мне свою помощь, и я хотела поблагодарить Вас лично. У меня здесь есть все, что мне нужно, но скажите, что заставило Вас предложить это?» Я объяснила: «О, Ваше Величество! У меня не было другого средства выразить все горе, которое мы чувствуем по поводу того, что произошло... весь ужас и стыд, которые мы чувствуем из-за того, что Вы вынесли и из-за судьбы Вашей семьи, все наше уважение и преданность Вам». Я не могла продолжать из-за слез. Императрица поднесла носовой платок к своим глазам. Потом она встала, подошла ко мне и, плача, обняла меня. Когда мы осушили слезы и смогли говорить спокойно, она позвонила в колокольчик по поводу чая,

который принес на подносе слуга казак. Она рассказала нам о своем пребывании в Крыму, где она ждала Британский конвой, который по соглашению с советским правительством должен был отвезти ее в Англию. Ее охранял отряд солдат во главе с комиссаром, который был исключительно подозрителен и груб. Он приходил в любые часы дня и ночи, обыскивал ее комнату, заставляя ее вставать с постели. Ее фрейлина и слуги были в ужасе от него, но переносили все молча. Наконец, британский конвой прибыл, британские офицеры ждали ее у входа, а она собирала последние вещи, когда неожиданно дверь открылась без обычного стука, и вошел комиссар, закрыв за собой дверь. Он подошел к ее Величеству, опустился перед нею на колени и сказал: «Простите меня, Ваше Величество, за все. Я притворился, чтобы никто не заподозрил меня... Я вел себя так, чтобы спасти Вас, простите меня...» Он поцеловал ей руку, а она наклонилась и поцеловала его в голову. Он вышел из комнаты, а британские офицеры проводили ее на борт корабля, и она покинула Россию. Она заключила свою историю словами: «Когда я теперь думаю о русских людях, я не могу поверить, что они злы. Я всегда помню этого комиссара».

Одним из наиболее гостеприимных русских домов в Лондоне был дом князя и княгини В.Е. Голицыных. Дом находился в Кенсингтоне около Лондона. В выходные он был открыт для многочисленных друзей семьи, по большей части англичан и русских, но также и представителей других национальностей Европы и Америки. В.Е. Голицын был раньше гвардейским офицером, а его жена, урожденная графиня Карлов, была наполовину русской, наполовину немкой. Ее отец, немецкий принц, женился на русской женщине, получившей титул графини Карлов. Княгиня Голицына была дамой огромного обаяния, искренней простоты в обращении и широты ума. Ее многочисленные русские друзья были люди различных слоев общества с различными политическими взглядами, включая группу молодых людей, называвших себя «евразийцами». Их главная мысль была в том, что Петр Великий сделал непростительную ошибку «прорубив окно в Европу» и насильно делая русских европейцами, тогда как по своему положению Россия принадлежала ни к Востоку, ни к Западу, но должна была развиваться самостоятельно на основе своей религии, традиций и обычаев. Они обсуждали свои идеи на собраниях, в лекциях и статьях. Трое из этих молодых людей вернулись в Россию, возможно надеясь убедить власти в правильности своего взгляда, но после того как они уехали, о них ничего не было известно. После начала войны княгиня Голицына стала работать в цензуре и оставалась в Лондоне во время налетов. Русская колония понесла большую потерю, когда она была убита бомбой, в то время как ехала на работу в автобусе. Она всегда была защитницей наиболее правильной точки зрения. Мои дети бывали в этой семье, и дружелюбная атмосфера Кенсингтон Холла всегда способствовала их наилучшему отдыху в конце недели.

В 1932 году брат В.Е. Голицына приехал с семьей в Кенсингтон Холл из России через Германию. Разрешение приехать было получено после многих лет хлопот и сложных переговоров, но, наконец, они были здесь в Кенсингтон Холле — отец, мать и трое маленьких чудесных детей. Моя дочь Наталья была тогда свободна, и княгиня Голицына попросила ее помочь Ирине Голицыной, которая была намного моложе своего мужа, а ее дети были в возрасте пяти, четырех и двух лет. Ирина подружилась с Натальей, а через нее и со мной и постепенно рассказала нам историю своей жизни в Советской России. Она была дочерью графа Татищева, правительственного чиновника высокого ранга, убитого в Петрограде в 1918 году, когда ей было 17 лет. В скором времени она была арестована из-за ее дружбы с семьей священника, который подозревался в контакте с антикоммунистами. Советские власти не поверили в невиновность Ирины и отправили в тюрьму в Вятку в Северной России, где ее поместили в большую камеру с другими женщинами-заклю-

ченными. Некоторые женщины были настоящими преступницами, другие были заключены за мелкие нарушения закона. Так как Ирина была очень скромная молодая девушка с искренней верой и приверженная церкви, она безропотно подчинилась новым условиям, а ее компаньонки не обращались с ней плохо. После года заключения однажды ее позвали к начальнику тюрьмы, который заявил ей, что она помилована и может покинуть тюрьму. Так как Ирина стояла перед ним молча, он повторил: «Вы слышали? Вы можете идти». Ирина сказала: «Я не хочу идти». — «Что Вы имеете в виду? Вы должны идти, если я Вам сказал». — «Но... Куда я пойду? Мне некуда идти...» — И она начала плакать. — «Если Вы не уйдете, я прикажу охране вытолкать Вас из тюрьмы». Ирина вернулась в камеру и рассказала надзирательнице, что ей приказано покинуть тюрьму. «Но куда я пойду?» — всхлипывала Ирина. Единственное место, которое она знала вне тюрьмы, была скамейка на берегу реки, которую она заметила, когда ее конвоировали через город. Сокамерницы окружили ее и стали давать советы, куда идти, каких людей найти в городе. Однако надзирательница позвала ее к себе в комнату и сказала: «Вы не должны знакомиться с теми, с кем Вам советуют эти женщины. Это, скорее всего, воров и преступники, а Вы слишком молоды, чтобы иметь с ними дело. У меня другая мысль: в нашем госпитале есть один больной из Вашей среды, по фамилии Голицын. Идите в госпиталь и попросите разрешения увидеть его — может быть, он даст Вам совет». Она объяснила Ирине, как попасть в госпиталь. Когда санитар указал Ирине, где находится кровать пациента, которого она хотела видеть, она подошла к этой кровати, села в ногах и снова заплакала к большому удивлению большинства мужчин, который никогда раньше ее не видел. Постепенно она успокоилась и объяснила свое положение и в каком совете она нуждается. Николай Голицын не мог дать ей никакого совета, т.к. никого в этом городе не знал. Однако слушавший их разговор мужчина с соседней кровати вдруг предложил свою помощь. «Послушайте, — сказал он, — у меня есть жена, очень добрая женщина. Я уверен, что она Вас приютит на некоторое время. Не думайте, что я преступник. Меня арестовали за то, что я ловил рыбу в запрещенном месте. Меня должны скоро выпустить, а пока идите к моей жене — она Вам поможет».

Голицын поддержал предложение мужчины, а Ирина вернулась, чтобы собрать свои вещи и отправилась по адресу, данному предложившим ей помощь заключенным. Жена его действительно оказалась доброй женщиной, которая вошла в положение Ирины и устроила ей постель в углу своей комнаты. Ирина несколько месяцев провела с этой парой, найдя для себя работу уборщицы. Так как она была очень религиозна и находила в церкви большое утешение, она присоединилась к небольшой общине церковных «сестер», которые поддерживали церковь и священника. Однако однажды этого священника заподозрили в антикоммунизме. Он и несколько сестер были арестованы, среди них Ирина. Ее опять посадили в тюрьму, и через несколько недель ей вместе с большой партией женщин приказали отправиться дальше на север для работы на лесоповале. По приходе на станцию, где надо было ждать поезда, она увидела среди заключенных мужчин, также ожидавших поезда, Николая Голицына. Они оба были рады снова встретиться. Он был на 20 лет старше ее, но они были люди одного образования, одних традиций... Не прошло много времени, как они стали большими друзьями. Работа по лесоповалу и распиливанню деревьев была тяжелой, но пища и условия жизни были лучше, чем в тюрьме, и их здоровье поправилось. Спустя некоторое время они были освобождены и решили пожениться. Они поселились в ближайшем городе, и оба нашли себе работу. Церковь продолжала оставаться главным утешением для Ирины. Советская власть в это время относилась очень подозрительно к политическим настроениям священников; вместе с тем церковь была единственным местом, где люди могли найти помощь, и она ее оказывала также тем, кто скрывался от

преследований. Поэтому священников часто арестовывали вместе с некоторыми прихожанами. Таким образом, Ирина снова попала в тюрьму, и ее третий ребенок родился в тюремном госпитале. Пока она отсутствовала, добрые соседи приходили к ней домой и помогали мужу ухаживать за двумя старшими детьми. Слушая рассказ Ирины об ее испытаниях, я была поражена той добротой, какую проявляла по отношению к ней простые люди, между которыми жила ее семья.

В это время Голицыны в Лондоне делали невероятные усилия, чтобы получить от Советских властей разрешение для своих родственников покинуть Россию и, наконец, достигли успеха. Екатерина Голицына решила устроить Ирине встречу с какой-нибудь богатой и влиятельной леди, которая приняла бы участие в ней и ее семье и помогла ей начать жизнь в Англии. Жена лондонского лорда-мэра предложила устроить прием в своем доме и представить Ирину собравшимся. Это было знаменательное мероприятие, но устроительница не учла отношения Ирины к богатству, комфорту и другим атрибутам обеспеченной жизни. Проведя много лет или в тюрьме, или в бедности среди людей, для которых главным в жизни было выполнение простых обязанностей, человеческие взаимоотношения и взаимная поддержка, Ирина не любила богатства и пышности — она отвергала их. Так как она была прекрасно образована и замечательно владела английским языком, она воспользовалась случаем, чтобы выразить дамам, присутствовавшим на приеме, свое мнение об их образе жизни, об их нарядах, драгоценностях, их стремлении к удовольствиям, обеспокоенности только своим счастьем, которое получалось за счет других людей. Ирина говорила как миссионер, но ее призыв, обращенный к слушателям, не имел успеха. Не зная ее истории, дамы оказались неспособны оценить ее искреннюю личность, и результат был разочаровывающим. Екатерина Голицына и ее муж сами помогали Николаю и его семье, пока Николай не нашел для себя работу, к которой он оказался действительно способен — реставрацию античной мебели. Они разместились в небольшом доме в Лондоне. Маленькие девочки посещали начальную и среднюю школу, тогда как мальчик закончил школу повышенного типа. Когда девочки стали подростками, у них стали вызывать удивление странные люди, приходившие к ним домой. По большей части это были пожилые бедняки, которых их мать встречала в церкви. Дети спрашивали Ирину, почему их сверстники общаются дома с богатыми людьми, которые говорят об интересных вещах, тогда как их собственные гости совсем другие. Ирина объяснила детям, что она хочет заботиться о бедных одиноких людях, о которых больше позаботиться некому. Один раз дочь спросила ее: «О чем ты говорила с почтальоном, мама? Ты так долго стояла с ним у двери». Ирина ответила: «Мы говорили с ним о религии. Я сказала ему, что если он чувствует себя несчастным, он может придти в Русскую церковь, которая намного ближе к настоящему христианству, чем все остальные церкви».

**И.Г. Якушкин.**

### **Воспоминания внука об М.Ф. Якушкиной**

Как и ее сестры, Мария Федоровна была женщиной необыкновенной силы духа и ярких талантов. Ей принадлежат выдающиеся по своим достоинствам, хотя и неопубликованные поныне переводы немецких поэтов, а также оригинальные поэтические и прозаические произведения для детей и взрослых. Написанные в разные годы воспоминания М.Ф. Якушкиной содержат описание отдельных эпизодов эпохи революции и гражданской войны, а также яркие портреты рядовых участников происходивших в 1917–1921 годах событий. Мария Федоровна была человеком исключительно широкого образования, с замечательным знанием немецкого и французского языков, русской и европейской литературы и истории. С

особой любовью она относилась к природе, животным и растениям. Главными учителями жизни для себя она считала Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко и М.А. Волошина. Она была близко знакома с членами семей первых двух писателей, а Волошина хорошо знала лично и помнила наизусть все его тогда ненапечатанные стихотворения о революции. Главным ее убеждением было то, что в каждом человеке существует доброе начало, которое откроется, если к нему относиться с доверием. Подобное отношение к людям, свойственное всем членам семьи Татариновых, помогло Марии Федоровне преодолеть все выпавшие на ее долю испытания. К Октябрьской революции она, как и ее муж, сначала отнеслась отрицательно, но потом признала ее закономерность и историческую необходимость, хотя всегда тяжело переживала все акты насилия. В советской власти ей привлекало отрицание частной собственности, которую она вслед за Львом Толстым считала величайшим, калечащим душу человека злом. С огорчением следила она за возрождением идеи собственности в сознании людей, особенно после окончания войны. Близка ей была и советская идея дружбы народов, которая должна была положить конец войнам. Что касается чрезмерного усиления роли государства, позже названного тоталитаризмом, то Мария Федоровна считала, что человек может и должен независимо от этого сохранять внутреннюю свободу. Ее восхищали жизнь и смерть Сократа и, оказавшись в Петербурге, она каждый день ходила в Русский музей к созданному Антокольским «Умирающему Сократу».

Когда мы с моей матерью вернулись из эвакуации, бабушке было 50 лет, но выглядела она очень пожилой женщиной. Одевалась она в старые, очень поношенные платья, никогда не надевая никаких украшений. Вставала она поздно, жалуясь по утрам на мигрени, пила кофе и долго сидела за столом, раскладывая пасьянсы. Она много курила папиросы «Казбек». К этому ее приучила ее бабушка Александра Карловна Рутцен-Татаринова, заставляя раскуривать свои папиросы. С вечера до глубокой ночи она читала, преимущественно перечитывала русскую классику — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева, Лескова, Аксакова, Короленко. Одним из главных нравственных авторитетов, как и для многих людей ее поколения, был Короленко с его рассказами «Тени», «Река играет», «Соколинец». Рассказ «Мороз» о том, как у людей «замерзла совесть», казался ей самым страшным. Из иностранной классики она любила перечитывать Гюго, Диккенса, Жюль Верна, Вальтера Скотта. Роман Жюль Верна «Таинственный остров» казался ей лучшим изображением единения людей, занятых совместным трудом. Все эти книги она знала почти наизусть. Из поэтов, кроме Пушкина, она любила Лермонтова, считая его стихотворения самыми грустными на свете, Тютчева, Жуковского и особенно А.К. Толстого. Стихотворение последнего «Двух станов не боец» она считала своим жизненным девизом. Кроме того, она приучила меня ценить знаменитые слова из поэмы «Дон Жуан»: «Не влезешь силой в совесть никому и никого не вгонишь в рай дубиной». Вместе с тем она прекрасно знала и других поэтов XIX века и составила для меня из их произведений детскую антологию. Из более новых поэтов она, безусловно, любила Есенина, Волошину, с которым была знакома по Коктебелю, и Гумилева, любимого поэта друга ее детства Н.И. Кудряшева. Ко многим другим известным писателям она относилась отрицательно или равнодушно.

Читала она и современные журналы, но принимая их особенно всерьез и утверждая, что ей очень интересные подробные описания производственных процессов. Впрочем, она действительно всем интересовалась и рассказывала, что, бывая в Кисловодске в санатории Академии наук, любила сопровождать академиков разных специальностей в далеких прогулках, выслушивая подробные лекции по соответствующим областям науки, включая лекцию К.А. Скрыбина о гельминтах. Дружила она и со многими профессорами в Москве и Воронеже. Особую область



ее чтения по-немецки составляла поэзия Шиллера, Гете и Гейне. Двух последних поэтов она переводила в течение всей жизни. Переводы эти, как и свои воспоминания, рассказы и собственные стихи она иногда при мне читала гостям. На меня большое впечатление производили сцены из «Фауста», особенно вторжение страшного мистического начала в жизнь обычных людей: Маргариты и Валентина, а также некоторые стихотворения Гейне, особенно баллада «Рыцарь Олаф». Кроме «взрослых» сочинений, бабушка писала и составляла книги для своих детей, а позже внуков, сама печатая на машинке тексты и подбирая иллюстрации.

Бабушка не была верующей, но говорила, что «любовь не умирает» и что ее любовь всегда будет с нами. Вместе с тем она хорошо знала Евангелие и Священную историю. Я часто слышал от нее евангельские изречения «Милости хочу, а не жертвы», «Имущему дастся, а у неимущего отнимется». При этом «имущие» для нее были люди, жившие духовной жизнью. Она говорила, что в душе всех людей живет «поэт», но у большинства «поэт» рано умирает. Бабушка глубоко и искренне сочувствовала людям в их несчастиях, не сомневалась, как многие, подойти к человеку в большом горе и старалась по возможности помочь. Ее щедрость не знала границ. Она была готова все отдать, и мой дядя Дмитрий Иванович шутил, что он прячет вечером свои брюки, чтобы «мамочка» их не отдала. Была также история с вором, которого она застала в своей квартире на Соломенной Сторожке и сама снабдила деньгами. Все считали, что она ничего не боится, хотя она сама говорила, что она хочет оправдать сложившееся о ней мнение. Как-то в гражданскую войну во время боев за Воронеж она и Иван Вячеславович спрятались на одной стороне улицы вместе с группой других людей, а на другой стороне оказался ребенок одной из женщин. Улица простреливалась и все, включая мать, боялись сходить за ребенком. Боялась, по ее словам, и Мария Федоровна. Но Иван Вячеславович сказал: «Маша сходит. Она не боится», и бабушка принесла ребенка.

Она много рассказывала мне о своем детстве, протекавшем в Орле и под Орлом в имении Хотетово, о родных, друзьях, лошадях и собаках, которых любила почти как людей. Она постоянно выхаживала больных или оставшихся без матери щенят и жеребят. Помню ее рассказ о жеребенке, который по утрам просовывал голову к ней в окно. В молодости она прекрасно ездила верхом даже с элементами джигитовки, плавала и каталась на коньках. Она рассказывала, что во время катанья на коньках отец бежал за своими детьми и их друзьями с железной палкой, стараясь зацепить отстававшего. Она особенно любила свою мать-болгарку Марию Андреевну и сестру Варю. От матери она переняла привычку называть детей странными именами. Я спрашивал бабушку, как выглядят эти существа, и тогда она мне их всех нарисовала. Во многом повторяя свою мать с ее балканским менталитетом, бабушка жила, мало заботясь о завтрашнем дне и о порядке в доме, не откладывая денег и не покупая ни вещей, ни одежды. Мебель в нашей квартире была старая, диваны и кресла были продавлены. Потом на полевой станции ТСХА нам сделали так называемые топчаны, которые обтянули материей. На одном из них спал и я. По стенам нашей квартиры висели фотографии родных и лесные пейзажи, сделанные Г.Р. Эйтингеном, а на подоконниках было много цветов. Иван Вячеславович хорошо зарабатывал, включая гонорары за статьи в разных изданиях, но денег никогда не хватало. К бабушке приходило много пожилых женщин разного социального положения, с которыми она подолгу беседовала, а потом давала деньги или какую-то работу. Регулярно она давала деньги старому слепому агроному В.С. Коссовичу. Она фактически воспитала дочь близкой семье Якушкиных арестованных родителей. Иван Вячеславович вообще в это не вникал, никогда денег с собой не носил и в магазины не заходил, об одежде не думал.

Зимой бабушка почти не выходила, страхась заболеть воспалением легких, а, начиная с весны, проводила большую часть времени на «огороде», сажая и пере-

саживая многочисленные цветы и ухаживая за ними. Потом она там же посадила кусты и деревья. Растения она любила до страсти, однако были у нее и нелюбимые: георгины, бархотки, примулы.

Бабушка считала себя непротивленкой — как Толстой, Волошин и Ганди, но к советской власти, по крайней мере, начиная с войны, относилась вполне лояльно, хотя и любила повторять слова своего отца, кадета: «Нужна не революция, а эволюция». Вместе с тем она говорила, что нужно учиться «мыслить критически», и всегда высказывала свое мнение, например, о деле врачей, о преследовании евреев, космополитов, биологов. Она написала сатирический рассказ от имени зайца, высмеивающего теорию отсутствия внутривидовой борьбы. Когда я позже сказал ей, что сформулированный Горьким принцип социалистического гуманизма гласит: «Если враг не дается, то его уничтожают», она была этим крайне шокирована. Она мирилась с какими-то действиями близких людей, которых могла не одобрять, всегда повторяя: «Мне легко. Я жила за широкой спиной». Иронизировала она и над ставшими модными после войны слишком «патриотическими» высказываниями, определяя их словами Базарова: «Ура, ура! На бой России». Она рассказывала, что в тридцатые годы молодежь дома ее ругала за то, что она называла себя «патриоткой». Она поддерживала кое-какие старые связи с двоюродными сестрами и некоторыми старыми друзьями. Она тяжело переживала известия об арестах. Возможно, бабушка поселила во мне мысль, что мы живем слишком благополучно, из-за чего я, начиная со школьных лет, стал испытывать чувство стыда.

Однажды Мария Федоровна откликнулась на известное стихотворение Н.С. Гумилева, где говорится:

Только змеи сбрасывают кожу,  
Чтоб душа старела и росла.  
Мы, увы, со змеями не схожи —  
Мы меняем души, не тела!

Мария Федоровна написала очень характерные для нее строки:

Как, поэт, с тобой мы не похожи...  
Сколько раз моя менялась кожа,  
А душа осталась, как была!..

*Публикация Ивана ЯКУШКИНА*

